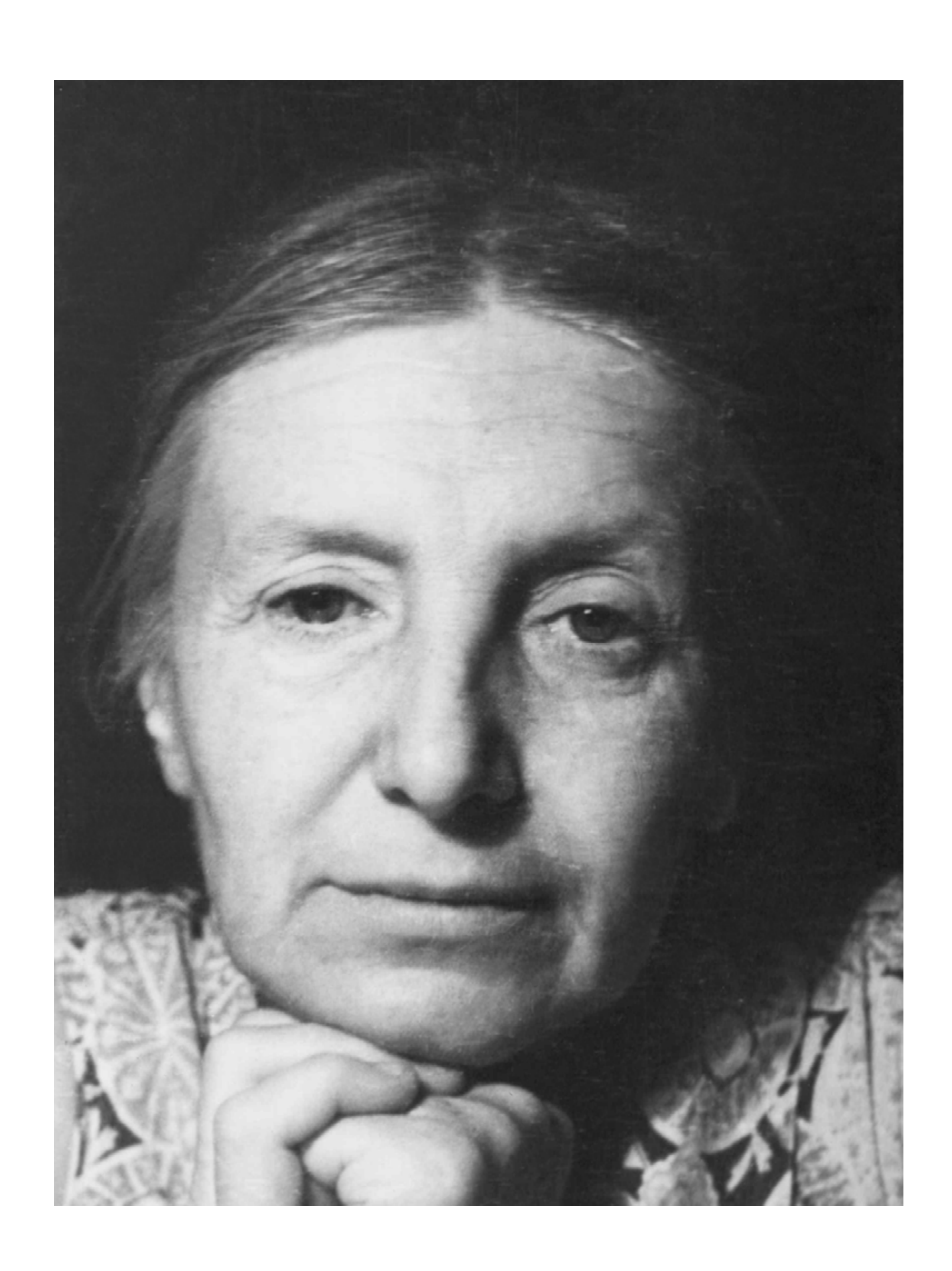
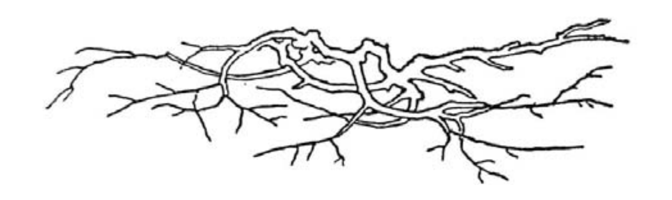


Ирина Шашкова

Пламя на ветру

Избранные стихотворения



Курсор 2005

ББК 83.3 (4РОС = РОС9)
УДК 821.161.1 (470+571) (092)

*Составление, подготовка текста,
биографический очерк и примечания
И. Я. Лосиевского*

Ш 24 Шашкова И. Пламя на ветру: Избранные стихотворения. – Харьков: Курсор, 2005 – 298 с.

ISBN 966-7810-94-1

Сборник включает избранные произведения харьковского поэта Ирины Васильевны Шашковой (1918 – 1987), автора прекрасной лирики – светлой и скорбной исповеди сердца. Политические стихотворения И. Шашковой 1930-х – начала 1980-х гг. – о голодоморе на Украине, о Сталине и нарастании сталинского террора, о ГУЛАГе, депортации крымских татар, «борьбе с безродными космополитами» и «деле врачей-убийц», о травле Бориса Пастернака, о подавлении «Московской любовью» народных восстаний в Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.), о кровавой афганской авантюре кремлевских властей и др. – стали выдающимся событием в русской нелегальной гражданской поэзии XX века. Эти потаенные стихи – уникальные свидетельства непокоренности человека, духовного его противостояния тоталитаризму. При жизни автора не было опубликовано ни одной ее строки. Большинство произведений, включенных в настоящий сборник, публикуются впервые.

В издании использованы материалы личного архивного фонда Ирины Васильевны Шашковой-Знаменской, созданного в Харьковской государственной научной библиотеке им. В. Г. Короленко на основе документов, переданных в 2005 году ее дочерью Татьяной Всеволодовной Знаменской.

К -------------- Без. объявл.
ISBN 966-7810-94-1

От издателя

Издательство Курсор продолжает серию книг харьковских поэтов, заслуживающих того, чтобы стать известными далеко за пределами нашего края.

Пик творчества Ирины Шашковой пришелся на период сталинского лихолетья. В то время и о том времени написаны самые сильные и яркие протестные стихи поэта, поражающие своей цельностью, постоянством жизненной позиции, глубиной осмысления происходящих вокруг процессов. Именно поэтому ее творчество было тайным и просто чудо, что это наследие удалось сохранить до сегодняшних дней практически в полном объеме – еще одно подтверждение того, что талантливые рукописи действительно «не горят».

Стихи И. Шашковой лишены парадной пафосности и показной нежности, это не просто тихая лирика, здесь постоянно присутствует несогласие с окружавшей её несправедливостью – в стране и обществе, в жизни и любви. Цикл политических стихотворений 40-50-х годов наполнен острой болью человеческой души, сумевшей подняться над рутиной и увидеть бесчеловечную суть власти, лицемерие служащих этой власти людей. В то же время каждое стихотворение оставляет пророческую надежду на неизбежность возмездия и приход истинной справедливости – невероятная проницательность в столь «единогласный» для страны период.

Жесткая и беспощадная лексика гражданских произведений нередко переносится поэтом и в сферу личных переживаний, но от этого лирические стихи только приобретают своеобразную выразительность и западают в память надолго. После их прочтения остаются яркие образы, эмоции, ощущение очищающего душевного потрясения.

Нет сомнения, избранные стихи Ирины Шашковой, включенные в этот сборник, – отличная «рекомендация» для её вступления в ряды художников слова, имена которых никогда не будут забыты.

* * *

Душу свою за други своя.

Евангелие от Иоанна. 15,13

Счастье! Но что же такое счастье?
У каждого – свой полет,
оно не спросит тебя о часе,
когда, наконец, придет.

Любовь тяжела и трудна без меры,
работа – совсем не та,
и всё-таки сколько упрямой веры
для нас бережет мечта!

Я помню ветер, тоску и стужу,
осады ночей и бред,
я знала – над жизнью моею кружит
ястреб кровавых бед.

Но были друзья, и мечты, и звонкость
летящей в рассвет строки,
морозного воздуха блеск и ломкость
и светлая рябь реки.

И было великое это упорство –
всё пережить и знать:
отречься – как это легко и просто,
куда трудней устоять.

Пройти все пропасти, все напасти,
услышать злорадства смех
и верить, – вот это и было счастье,
счастье моё за всех.

1955

Фото 1938.

Строгое сердце

* * *

Легла бегущих лет утрата
седой волною на висках.
И жизнь уходит без возврата,
затерянная в тупиках.

Любовь и дружба! – Сколько муки,
неразрешенности, тоски,
и сжатые до боли руки,
и Стикса черные пески.

1947

СЕВЕРЯНКА

В. З.

Пусть поет твоя тальянка,
пусть звенит весна,
голубая Северянка
в царстве льда и сна.

Ей не встать, не сбросить снега
в солнечный расцвет,
только царственная Вега
льет холодный свет.

Снег кружится в легкой пляске,
а царевна спит,
Кто-то нежный шепчет сказки,
меж ветвей шумит.

Что ей песни и тревоги
сердца твоего,
у нее свои дороги
снегом замело.

Сон царевны тих и ясен,
светел мир теней.
Уходи! Твой зов напрасен,
недоступен ей.

1934

* * *

Ну и что же – не будет счастья:
кто-то плакал сегодня ночью,
кто-то больше не может видеть
золотых на земле огней.

Знаю я – уходящих в сумрак
замечают одни лишь кошки,
эта древняя, мудрая раса
непокорных во всем зверей.

1937

* * *

Я с каждым днем угрюмей становлюсь,
тоска моя густеет черной кровью,
я узнаю, что безысходна грусть,
что мука называется любовью.

И целый мир мне дали для того,
чтоб я могла от мира отказаться.
Так из глубин безверья моего
не может песня к небу подниматься.

Подернулось все пеплом, и одна
во мне живет, не умолкая, горесть.
Мне радость – боль. Исчерпана до дна
моей души мятущаяся повесть.

Теперь осталось медленно стареть,
поставлены пределы всем желаньям.
Певунья я – а разучилась петь,
веселая – живу я для молчанья.

1947

* * *

М. Г.

Не мастер я и не гранильщик слов,
таинственных не знаю я созвучий,
красноречивей, чем язык певучий,
чем музыка – в душе моей любовь.

Так по глазам нельзя не угадать,
как я люблю вас нежно и тревожно,
с какой хотела б лаской осторожной
я вашу боль и вашу грусть унять.

У ваших ног в глубокой тишине,
в той комнате, где все преобразилось,
где мы одне, где, как в отрадном сне,
пришла ко мне нечаянная близость.

Я счастлива. Я снова здесь живу.

1948

* * *

Я стихами никогда не лгу,
не срываю розы на бегу,
и за это мне навек дана
в облаках плывущая луна,
весь в кипенье блеска день сквозной,
отраженный яркой синевой,
и за это мне навек дана
ветром обожженная страна,
птичий мир сквозь щебет, в пересвист,
в тихий полдень облетевший лист.

1949

* * *

Любить! – Когда нет сил поднять на Вас глаза.
Любить! – И слова не сказать без боли,
и слушать, как растет и ширится гроза,
и затихает перед Вашей волей.

Любить! – И никогда не утолить мечты,
свой жадный сон сдавить своей рукою,
лишь изредка исписывать листы,
замкнув любовь короткою строкою.

Дать ей в дыханье начертанье букв,
перевязать ей руки ритмом пыток,
зажать ей рот, замедлить сердца стук…
А нежности куда девать избыток?

А нежности?.. – О ней забыли Вы,
ее строкою не замкнуть за слово,
из-под словесной путаной канвы
она дыханьем оживает снова.

В ней все порыв и все в ней тишина,
и даже боль стихает перед нею,
прикосновеньем трепетным она
расскажет все, о чем я не сумею.

1950

* * *

Со мною тишина ночная –
простая, как моя любовь,
она поет, не умолкая,
поет, и, девочкой рыдая,
мне сны рассказывает вновь.

Все те же сны… Все слово в слово,
и вот запрятались в углы
живые тени мрака злого,
заботы, горе, стон больного,
вся безнадежность этой мглы.

Все ярче, разгораясь песней,
из звуков, из глубин души
ночной, единственной, чудесной
дорогой снов, тропой небесной
ко мне во сне приходишь ты.

1950

* * *

М. Г.

Мой друг, мы порознь одиноки
не потому, что я чужда,
не потому, что в эти строки
закралась гибелью беда.

Мы одиноки перед бездной
двух потаённых в горе душ.
Так тщетно рвется в сумрак звездный
лесов таинственная глушь.

И руки слабые разъяты,
встречаясь, падают они.
Мы помним только горя даты,
мы числим только горя дни.

И, разобщенные от века,
друг возле друга мы бредем,
к судьбе слепого человека
приговоренные вдвоем.

Напрасны тайные касанья
двух потерявшихся сердец,
есть за границей обладанья
порыву встречному конец.

1951

* * *

Где ты, моя душа? Ищу с начала дней
тебя, незримую, чьи сумерки нежней
прозрачных лепестков фиалки или розы.
В лиловой поросли, где в свежести теней
растет предчувствие и тайно зреют грозы,
я думаю о спутнице моей.

Зачем зову ее, зачем бреду за ней? –
Я только плоть и прах, чья жизнь еще темней
таинственных глубин, где вызревают лозы.
Нет, тела смертного не вырвать из сетей,
земле земная дань и голос грубой прозы.
Оставь меня среди моих страстей!

1951

Ифигения

К земле привязана бескрылою судьбой,
в чужом краю, где солнце кроют тучи,
в стране туманов, пленницей немой,
ты провожала ветра бег летучий.

Зачем ты не забыла имена?
Зачем ты повторяла их на г*о*ре?
Вокруг тебя бродили племена,
и дикое у ног ревело море.

Кто, Ифигения, сойдет к твоей тоске?
Ахилл погиб, сражаясь за Елену.
И ты следишь – вот тает на песке,
как жизнь твоя – белеющая пена.

И я тоскую – только нет в пути
надутых ветром парусов Ореста.
Мне на корабль волшебный не взойти.
На всей земле тоске моей нет места.

1951

* * *

М. Г.

Ты приходишь ко мне из далекой земли,
там, как белые чайки, летят корабли,
там, как синие розы, нежней тишины,
плещут волны о берег, баюкают сны.

Золотые снопы преходящего дня
ночь вплетает в дыханье, волну серебря,
и бежит по волне золотою тропой
надышавшийся ветром и розами зной.

Ты приходишь, но грусть отуманила взгляд.
Мне глаза без конца о печали твердят,
от веселой, горячей и знойной земли
безнадежность туманов они донесли.

Ты повсюду носила его за собой –
этот грозный, как память, бессонниц прибой.
Я молчу. Перед горем опущенных рук
слово только пустой и незначащий звук.

1952

* * *

В смятенье я – печальный пленник чувств, –
дорогою бесплодной и суровой
иду я вспять – друзей, семьи и крова,
твоей любви, быть может, я лишусь.

Зажми мне рот, глаза мои закрой,
сотри мне память болью поцелуя,
чтоб я, тревожась, плача и ликуя,
забыла ночи с гневом и тоской.

Верни мне голос – пусть чужой напев,
романтику влюбленности певучей.
Над головой гроза собрала тучи:
меня убьют молчание и гнев.

Меня задушит крик моей тоски,
исканья правды в мире разночтений,
все образы, все призраки сомнений,
галлюцинаций травля и свистки.

Мой стих забился в судорогах дней,
он мечется от муки бессловесной,
он безголосый, в жизни неуместный.
Не надо правды!.. Слишком трудно с ней!

Люби меня, – и память пусть уснет
и мертвецов вторично похоронит,
пусть ласка рук мою тоску отгонит
и стих с чужого голоса поет.

1952

* * *

Только раз прикоснуться жадно
всем моим существом к тебе,
но запутанно и нескладно
говорю о чужой судьбе.

Говорю о каких-то книгах,
о каких-то пустых делах.
Годы тянутся, как вериги,
пробирается в душу страх.

И проходят часы бесплодно,
не вернуть ушедших минут,
сердце, сердце, сколько угодно
у тебя и забот, и смут.

Он уходит, зевая от скуки.
Прямо к сердцу его прильни,
чтобы только метались руки
и над бездной истлели дни,

чтобы памяти не осталось,
долг ослеп и тоска ушла,
чтобы в этот летящий хаос
не ворвались твои дела.

1952

* * *

Нет ничего на свете, кроме несчастий,
звезды теряют друг друга в высоком небе.
Я не хочу ни твоей любви, ни участья, –
и от меня ничего ты больше не требуй.

Горько теперь я люблю одинокие ночи,
тени проходят, – я слушаю шаг торопливый.
Наш разговор оборвался, давно он окончен.
Ночи одни говорят, а сердца молчаливы.

1952

* * *

Скорее лечь в постель:
упасть, уснуть, не слушать,
забыть, что были дни,
что даже жизнь была,
не пробуждаться вновь –
единственную душу
не отдавать в расход
на мелкие дела.

1952

* * *

Тень дерева металась, как собака,
по улице и не могла сбежать,
и кто-то долго, нестерпимо плакал,
чуть затихал и начинал опять.

Сырая глина, сбившаяся в тучи,
сместила небо и упала в дождь,
напрасно ветер в приступе падучей
рвал винограда высохшую гроздь,

кидался оземь, бил ветвями стекла, –
была, как плесень, в доме тишина.
Открыть окно!.. Сирень вконец измокла.
Помочь!.. Сбежать!.. Ведь где-то есть весна…

1952

* * *

P. J.

Луч из другого мира – он в руке,
вот пушкинская лира на песке,
вот бьется волнами у самых дамб
Багрицкого вольнолюбивый ямб,
и в цокоте копыт, летя, кружа,
стих Тихонова отблеском ножа.

Но дик мой мир и горек, как полынь,
не отгадать тяжелых вод глубин,
не вырвать песни, и не может луч
ни разорвать, ни сдвинуть груза туч.
Здесь даже время замедляет шаг –
нет ничего в растерянных руках.

1952

* * *

P. J.

Я не виню, так быть должно,
не всем горячее вино
и зрелой дружбы зной и горе,
я только капля в этом море
простых горюющих сердец,
я только отзвук, наконец,
твоих стихов, твоих желаний,
твоих падений и исканий.
И, если ты ко мне сошел,
меня в лицо не различая,
услышал только оклик чаек,
увидел за туманом мол
и позабыл, а я в печали
еще мечусь, и годы встали
передо мной глухой стеной, –
твоей вины я здесь не вижу.
Ты много пережил и выжил,
я виновата, мне одной
нести свою вину, не надо
молчанья было прерывать,
тот, кто с травою прозябать
обязан средь земного сада, –
он должен плакать и молчать.

1952

* * *

Т. Ш.

Воску ярого свечу
на окошке засвечу,
будет свеченька гореть,
будет молодость лететь.

Как пойду я во садок,
вскину на плечи платок,
встанет месяц молодой
над серебряной ольхой.

Будет месяц в небе плыть,
будет звезды полошить,
вишня белый первоцвет
осыпает ветру вслед.

Как на том большом ветру
я совсем не разберу –
соловей ли пел звеня,
целовал ли ты меня...

1953

* * *

Выступали деревья из мрака,
падал дождь, о камни звеня,
где-то выла сирена, и плакал
ребенок возле меня.

И никто не сумел утешить.
Убегала дорога вспять,
на снегу пробивались плеши, –
и так страшно молчала мать.

1953

* * *

Я с каждым днем люблю сильней
и вижу с каждым днем,
что гасну я в судьбе твоей
безрадостным огнем.

Печален мой смущенный взгляд –
в нем столько тишины.
Как беден золушки наряд,
как беспокойны сны!

От сажи руки не отмыть,
а где-то будет бал,
пора мечту свою забыть, –
я знаю, час настал.

Но если так легко уйти,
то кем же я была?
Прощай. И пусть тебя в пути
не настигает мгла.

1953

* * *

О, если б я была поэтом,
я б увела давно тебя
за грань немыслимого света,
за грань земного бытия.
Я б унесла тебя на крыльях
в надлунный и чудесный край,
я б закружила звездной пылью,
сожгла б и крикнула: – Прощай! –
Но я земная, я простая,
не знаю звездного пути,
мне ближе оторопь степная,
мне легче по полю идти.
Не уношу тебя я в небо
и только нежность отдаю,
прохладу утра, птичий щебет
и грусть последнюю мою.

1953

* * *

От ласк твоих отказавшись, я
ни места, ни сна не найду.
Поет над иглой за стеною швея
про горе свое и беду.

И кажется, плачет ребенок больной,
а тонкая нитка снует,
и горе свое зашивая иглой,
швея над работой поет.

Ни петь, ни работать, ни жить не могу,
с ума ли я что ли сошла.
Я память свою от ночей берегу,
а сердце сжигаю до тла.

Швея умолкает в предутреннем сне,
ребенок утих за стеной.
Забыться!.. Но сон не приходит ко мне,
ночь давит и мстит тишиной.

1953

* * *

Здесь пели птицы, здесь, в саду, на склоне
росли маслины, созревал кизил.
Все это было, – и с тобой, влюбленным,
ко мне из сада вечер приходил.

Теперь больна, а все тебя тревожу,
напрасно я придумывала сон,
в Венеции когда-то снилось дожу,
что с океаном был он обручен.

1953

* * *

Довольно! Есть предел всему,
ты заиграл меня до смерти,
себя и то я не пойму,
моя бессонница в дому
избороздила километры.

О чем хлопочете, друзья?
Чтоб я жила, чтоб я дышала?
Но сад мой оплела змея,
и я ей сердце обещала.

Так жить я больше не могу,
напрасны ваши все усилья,
я надломила песне крылья
у одиночества в кругу.

1953

* * *

Никто тебя отобрать не может,
пока сердце мое с тобой,
пока нас один огонь тревожит,
зажженный ночной судьбой.

Стужа и ветер в стране – бродяги,
а за ними ищейкой – тьма.
У нас одна родина – пусть голы и наги
деревья, камни, дома.

Никто тебя отобрать не может.
Если свет погаснет во мне,
если сердце мое суховей изгложет,
ты разыщешь любовь в золе.

Ты меня из пепла поднимешь новой,
я для тебя, как стебель, пробьюсь
сквозь снег и ветер, сквозь все, чем скован
мир, и я ничего не боюсь.

1953

* * *

Пусть ты не любишь и жесток,
пусть голос сердца одинок,
пусть по ночам совсем не сплю,
но я без памяти люблю.

Пусть ночь встает над головой
и бьёт жестокой тишиной,
и ты в ней только горя бред. –
А я целую этот след.

Пусть ожиданье, словно плеть,
пусть ты не можешь пожалеть, –
иди к другой. Я всё стерплю,
ведь я без памяти люблю.

1953

* * *

Не знаю, кто кого любил.

И. Э.

И снова темная волна
меня на гребень подхватила
и унесла, и закрутила
в неразберихе лет и сна.

А там еще кружится ил,
засасывая боль песками:
«не помню, кто кого любил»
и я ли плакала ночами.

На дне забвенье и покой,
а музыка идет грозою,
мы там, за тою тишиной,
почти сроднившейся с тоскою.

Над головой летят леса,
проходят тучи, бьется пена,
и за Москвой-рекою Сена
несет в объятьях небеса.

1953

* * *

Да, злая память у меня,
не помню я уже о счастье.
Псы горя, рвите жизнь на части,
я вас спускаю в сумрак дня.

Клыки тоски своей вонзая
в живое тело, пейте кровь,
чтоб задыхалась, умирая,
моя ненужная любовь.

В чертополох обид и гнева,
в репейник колющей тоски
гоните лаем, справа, слева,
терзайте, рвите на куски.

1953

* * *

Вся избитая, вся исхлестанная,
не умея цветам помочь,
убегая слепыми верстами,
повстречалась с зарею ночь.

Повстречалась – и вдруг растаяла,
растворилась в ее лучах.
Так и я для тебя оставила
все, что пело в моих ночах.

Так и я, умирая, падаю
в золотые твои глаза:
будет радостью и наградою
убивающая гроза.

1953

* * *

Л.

С весной и солнцем спорит вьюга,
чиня бессмысленный допрос,
и сразу не отыщешь друга
в горячем ливне этих слез.

И впрямь, и вкось, дрожа и плача,
и негодуя, и скорбя,
никак не разрешит задачу
мое неверие в тебя.

1954

* * *

Л.

Сердце на клавиши, в музыку, в ветер,
солнечным ливнем навстречу тебе,
чтоб ничего не осталось на свете
несовместимого в нашей судьбе,

чтобы ни горя, ни слез, ни попреков,
чтобы звенело, летя и кружа,
имя твое из лазури глубокой
в щебете птиц и в блистанье ножа.

Из-под копыт чтобы искры летели,
знамя, как лебедь, плескалось в крови,
чтоб умереть не на мягкой постели,
а в ослеплении битв и любви.

1954

* * *

Л.

Зачерпнула воду из ведра,
пролила из кружки на ладонь,
и повисла капля серебра,
голубым рассыпалась огнем.

Тонкий луч пронзил ее насквозь,
легкий трепет п*о* сердцу прошел,
будто где-то серебристый дождь
закружил и опоясал мол.

Будто где-то прозвенел хрусталь,
пробежал по клавишам и стих…
Даже тенью не войти мне в даль
улиц убегающих твоих.

1954

* * *

P. J.

Мои стихи – ужели только свет,
бегущий огоньками по болоту?
Я кровь им отдала, а в них, как в чаще
из вод и трав, запутались слова.
Ужель они лишь пугала пустые,
одетые в лохмотья мыслей горьких,
тряпье без рук, без тела, без дыханья?
И этот бред я признавала жизнью,
я для него работу запустила,
сны отогнав, в бессонницу ушла,
и в том колодце проводила дни.
Вы далеко, но одинокой ночью
я говорила с Вами на распутье,
я спорила, звала, не дозвалась.
Но есть же где-то на земле тепло –
пусть даже в приговоре, есть же где-то
какой-то отклик на чужую душу!

1954

* * *

Л.

День, почти уходящий в вечер,
чуть светлее у самых сосен,
с моря соленый и влажный ветер,
осень.
А я в предчувствии:
нарастает,
стихом и прибоем рвется к небу.
Слышишь, как где-то взлетела стая,
как задымился под пеной берег –
и разлетелось…
Только гаснут
еще огоньками лучи на волнах,
почему-то особенно вспомнились ясно
белые эти колонны.
Под затихающий звон трамваев,
слушая больше глазами, чем слухом,
знала тогда, что во мне нарастает
слово на радость мою и муку.
Друг! –
и запели аллеями нимфы,
все провода оказались во власти,
улицы мчались,
а мы затихли,
может быть, это и было счастье.

1954

* * *

Ты слышишь, как у самых губ
слова уже таят испуг,
и все неверно, все не так –
ни ночь, ни день, ни свет, ни мрак.
И только звезды за окном,
как листья, падают дождем.

1954

* * *

Чем старше мы, чем горше чувства,
чем безысходнее слова,
тем ближе темное искусство
к тебе, багряная листва.

И зрелость дружбу охраняет
среди печалей и страстей,
она одна не избегает
истлевших звездами ночей.

Она одна в часы тревоги,
на голос сердца приходя,
найдет размытые дороги
и не отстанет от дождя.

Не заглушит ни дождь, ни вьюга
среди скитаний голос друга.

1954

Река

Когда река ломает лед,
она от гнева набухает,
и берег в ярости грызет,
и волны черные вздымает.

Клубится пар, грохочут глыбы,
своим неистовством горда,
сама себя несет на дыбы
осатанелая вода.

Так и душа сквозь боль и муку,
все тени прошлого губя,
уже приветствует разлуку,
освобождаясь от тебя.

И так же бьет осатанело
она в ночные берега
и гонит глыбы снов сквозь тело,
и топит слёзы, как снега.

1954

* * *

Ты дан мне был в раскрытье мира,
в понятие добра и зла,
я постигала глубже, шире
тревогу, музыку, дела,

все чувства, все пути в движенье,
всю неподатливость тоски,
моей мечты осуществленье
и память, взятую в тиски.

Как прорастает лист из почки,
как дышат воды, так во сне
моя любовь слагает строчки,
чтоб стать деянием во мне.

Ты дан мне был, как ветра шорох,
как русской речи звук во всем,
как родина, чей путь в просторах
всей жизнью мы не обойдем.

1954

* * *

Л.

Я вам пишу, пишу опять,
теряя письмам счет,
я все еще хочу понять,
как начался полет.

Как, вырываясь из-под рук,
стекло разбив, ко мне
вдруг долетел печальный звук
и замер в тишине.

И было столько муки в нем
и столько простоты,
что в этом сумраке ночном
мы перешли на «ты».

1954

* * *

Ночь, опрокинувшая звезды
над светлым зеркалом Оки,
почти звенящий, ломкий воздух,
не защищенный от тоски,

осины тоненькие ветки,
заиндевевшие в окне.
А я... Лишь праздные заметки
напоминают обо мне.

Вздох, перехваченный морозом,
сведенная тревогой бровь –
всё это лишь твои курьезы,
«великодушная любовь».

Но этот черный бархат неба
и звезды, брошенные в снег, –
нет, вы не выдумка, вы – треба,
берез служенье и разбег.

И я, хоть стих звенит и рвется,
лукавит, плачет и грустит,
поземкой вдоль дороги вьется
и в чьих-то комнатах гостит,

я в эту ночь одна с бедою.
Не забывай, прости меня!
Уже рассвет плеснул водою
из родника иного дня.

1955

* * *

От неверия и обид
дождь ударил еще сильней,
на мосту, где ветер свистит,
очень трудно сдержать коней.

В тучи врезался острый шпиль,
над Невою туман и бред,
прямо в ночь, нарушая стиль,
в бездну прямо летит проспект.

Где-то рядом шумит вода,
замыкается в черный круг,
эта ночь как мои года,
это ты, уходящий вдруг.

Отбиваюсь!.. А дождь взахлест,
по камням сильней и сильней,
и бросает меня норд-ост
под копыта твоих коней.

1955

* * *

Л.

Вот мы и встретились в выдумке новой
бессонною ночью на дальней косе,
чтоб слово звенело и плакало слово,
и стало таким же обычным, как все.

Вот так возникают дороги чужие,
вот так настигает чужая беда.
Я против. А ты?.. Только сосны сквозные
да жесткая эта, как камень, вода.

Я против!.. Не надо!.. Зачем мне такое?
У нас даже звезды спелей и сочней,
и вишен без счету, и яблоки вдвое,
и нет только тени далекой твоей.

1955

* * *

Разве я не ласкова с тобою,
разве я сейчас не весела?
Видишь, ночь тропою голубою
звезды за собою привела.

У окна их россыпь золотая,
для чего других чудес искать?
Я не фея – но зато живая,
я не чудо – но могу им стать.

1955

Ревность

Я ревную за всех: и за тех, кто не плачет,
и за тех, кто бросается ночью под мост,
и за тех, кого дождь тишиной озадачит,
а потом увлечет, задыхаясь, в норд-ост.

За друзей и любимых, за осень, которой
не увидеть над городом белых ночей,
я ревную за них – до мучений, до ссоры,
до разрыва с Шопеном и музыкой всей.

Каждым словом ревную, но так, чтоб дыханье
перехвачено было, чтоб не было слов,
я ревную тебя одного в нарастанье
перебоев сердечных минут и часов.

Только осень и я, только листья и ветер,
голых веток молчание, дождь, чернота.
Я ревную, чтоб вымолить встречу у смерти,
чтобы осень вернула мне все до листа.

1955

* * *

Сквозная просинь перекрёстков
весеннюю открыла даль.
Мой день, мой свет, мой тайный крестный,
моя любовь, моя печаль.

Всё здесь для радости и смеха,
для ликованья юных рощ,
и даже дождь мне не помеха,
слепой, веселый, ярый дождь.

1955

* * *

Я нежно и просто – до боли
храню тебя в жизни своей.
Уйдешь – и, как мертвое поле,
протянутся тысячи дней.

Но даже в упрямой разлуке,
тебя ли, себя ли виня,
я буду любимые руки
искать до последнего дня.

1956

* * *

Прощай, любимая, прощай!..
Как странен этот вечер –
стола чуть освещенный край
и дрогнувшие плечи.

Вот вся в рыданьях замерла,
дрожат в обиде губы,
а шкаф грозит из-за угла
пустой рукою шубы.

В час горя вещи против нас,
всё против, всё с надрывом,
а слезы только тянут час,
последний час разрыва.

Прощай, любимая, прощай!..
Как странен этот вечер –
стола чуть освещенный край
и дрогнувшие плечи.

1956

* * *

Л.

Мне не жаль, что больше никогда
нас с тобой не отразит вода,
не услышат в сумерках мосты,
что со мною передумал ты.

Одного мне жаль, – что я ушла
навсегда в кривые зеркала
и что образ, отраженный в них,
стал чужим средь тысячи чужих.

1956

Весна

Т.

Вот солнечный луч, разбиваясь на капли,
стекает с карнизов, деревьев и крыш.
Апрель начинается, вишни, как цапли,
крылатыми ветками врезались в тишь.

Рассвет – и запрыгали зайчики в лужах,
ручьи разбежались, а ну-ка, вставай,
вставай, дорогая, кораблик из стружек
уже уплывает в загадочный край.

Мы выбелим солнцем дома и причалы,
мы вымоем блеском все окна кругом,
вставай же, шалунья, весна забежала
к нам в комнату вместе с упрямым лучом.

К плотине спеша, ухмыляется мельник,
вот прячется пролесок робко в траву,
и даже суровый, нахмуренный ельник
зеленой иголкой прошил синеву.

1957

* * *

Л.

Звук рождается в памяти,
будто капель начинается:
белые ночи – и нет ничего, а растет,
падает россыпь,
ноктюрном опять рассыпается,
падают капли,
а голос поет и поет.
Это не я –
это клавиши, звезды и голуби,
стая, летящая к черной воде у мостов,
таянье льдинок и ведра, звенящие в проруби,
это мечта,
это музыка, звон и любовь.
Можешь не слушать,
но где-то сквозь изморозь вскинется
тонкой иглою тоскующий голос весны.
Сердце забьется,
и стрелка не вовремя двинется,
лед под водою разбудит туманные сны.
Я прихожу…
Прихожу не к тебе –
это песня,
звук отраженный и сломанный в зеркале луч.
Падает капля –
и как ты с собою не бейся –
память всегда – столкновение
музыки, молний и туч.

1957

* * *

Л.

Провод тонкий натянут в звон
ветер рвется в простор полей,
на столе моем телефон,
говори же с душой моей.

Говори же. Я помню ночь,
черный вечер, сухой рассвет,
убегая от станций прочь,
поезд врезался в гущу лет.

Словно по сердцу он прошел,
там лежит его колея,
я бросаю письмо на стол,
затаила дыханье я.

И сквозь ветер домчался звук,
ночь Бетховеном рвет листы,
от моих онемевших рук
навсегда отказался ты.

Все равно ни тебе, ни мне
не уйти от своей судьбы,
провод тонкий звучит во сне,
словно голос ночной беды.

Провод тонкий натянут в звон,
ветер рвется в простор полей,
на столе моем телефон,
говори же с душой моей.

1958

* * *

...От губ твоих, от рук твоих нет мочи
мне оторвать в отчаянье себя.
Все поглощает реквием, скорбя,
и убивает мудростью пророчеств.

Прочь, равнодушье скорби! Ты не прав –
любовь не груз, не тяжесть мертвой гири,
игла антенны ищет звук в эфире,
кузнечик с флейтой бродит между трав.

Легко в руках стрижонка задавить,
в глазах забьется сразу боль тугая.
В агонии, почти изнемогая,
любовь не может муку пережить.

Пусть с нею вместе я умру в тоске,
твоею волей брошенная в бездну.
Шквал налетел. Как пена на песке,
из памяти бесследно я исчезну.

Что ж, отрекись от памяти. Забудь!
Мир растревожен лунною сонатой,
я не боюсь ни страсти, ни расплаты,
страсть и расплата – наш единый путь.

1959

* * *

Они летят, они ещё в дороге.

А. А.

Они в пути. Они летят к тебе.
Что сделала? Мой дух сегодня болен.
А ветер воет по ночам в трубе,
срывая звезды с дальних колоколен.

Как свечи, снегом тополя зажглись,
под звездами они едва мерцают,
их серебром запорошила высь,
и легкий ветер пламя раздувает.

Синеют крылья в прорези ветвей,
опять поет о счастье ангел ночи,
глаза твои все ближе, все светлей,
что говорят? О чем они пророчат?

1959

* * *

Все это бред, пустой и скучный, –
его ты вычеркнешь, а мне
невмоготу твой благодушный,
твой утвержденный мир извне.

Строкой ломая расстоянья,
я прихожу, чтобы понять
Невы холодное молчанье,
надменную, скупую гладь.

От болтовни, от излияний,
от бесполезной мишуры,
от всех бессмысленных исканий,
от сплетен, стертых до дыры,

ото всего, что болью станет, –
бежать и скрыться навсегда.
Нет губ, которые не ранят.
Нет встреч, ушедших навсегда.

1959

* * *

Они твердят: «Забудь! Забудь!» –
Твердят – и пусть. Когда-нибудь
Бетховеном взорвутся дни,
пройдут по клавишам огни,
ночные вспыхнут голоса –
я загляну в твои глаза.

Я буду слушать, ты – играть,
не надо будет больше ждать,
я все сумею, все смогу,
пусть след растает на снегу,
пусть бьется ветер – все равно
в тот час я растворю окно.

1959

* * *

Гремела музыка, звенела, плача, медь,
прозрачным родником вплетались в бурю скрипки,
а я вошла в твой дом, как рыба входит в сеть,
чтоб рваться из нее и замирать от пытки.

На берегу лежит захваченный улов,
он брошен на песок и никому не нужен,
и музыка гремит прелюдией валов
и жалобной тоской покинутых жемчужин.

1959

* * *

Какая сила нас бросает
в чужую жизнь, в чужую ложь,
и ранит, и преображает,
и поворачивает нож?

И кажутся родными руки,
и нет прекраснее лица,
слились в предчувствии разлуки
в одно биение сердца.

И снова звезды над водою,
и тьму разбившее весло,
как будто звонкой тишиною,
нас прямо в море занесло.

Но вот проходит заблужденье,
и ничего не узнаешь.
Ты не проси – не даст забвенья
вдруг обнажившаяся ложь.

1959

Концерт Брамса

Рихтеру

Всю ненависть звуков швырнуть и припомнить,
а после, рыдая, к роялю припасть.
Настойчивей Брамса молчание комнат,
страшней, чем у Брамса, чужая напасть.

Здесь быт, словно вата, все чувства утопит,
и даже надежда тебя не спасет,
и медленно падают белые хлопья
на крыши, дороги, – здесь холод и лед.

...Но вдруг полились, засверкали, запели,
как будто столкнулись с волною лучи,
все в радуге небо, забыты метели,
забили тревогу лесные ключи.

Горячие ливни ворвались с полслова,
победа в литаврах, бушует рояль,
и ты, приходящий из мира другого,
опять открываешь всю в молниях даль.

1959

Прокофьев

Как ночь в грозе заламывает ветки –
рос над роялем сумрачный разбег,
как скомканные в поисках заметки,
как на губах нерастворенный снег.

Ушла Нева густой смолою мимо,
мосты взорвала молния, – и вдруг
все так же, как всегда, неодолимо
в надрыве ветра прозвучало: – *Друг!* –

Еще больней, еще смятенней звуки,
и нет мелодий – в клавишах ха*о*с, –
а я опять протягиваю руки
и падаю в жестокий ливень слез.

1960

* * *

Всю ночь мне снилось – я ищу тебя,
едва настигну – снова потеряю.
Теперь проснулась. Что же я блуждаю
в том странном сне, где мучают, любя?

Зачем ищу я улиц давний свет,
притушенный туманом и печалью,
зачем бреду все той же странной далью,
где звук как эхо, а надежда – бред.

Вновь в узел боли город нас связал,
течет река надменно и сурово,
чтоб ожил сон, мне надо вспомнить слово,
разбитое на тысячи зеркал.

Осколки их впиваются в меня
и режут сердце острыми углами.
Напрасно спорить с белыми ночами, –
я слышу топот Медного коня.

1960

* * *

В глубокой тишине, среди высоких трав
прилечь и слушать звон невидимого хора,
ленивою рукой листать страницы глав
и сладко засыпать над выдумками Мора.

Вот тащит муравей упавший стебелек,
к нему уже спешат другие на подмогу,
но поднял их с земли беспутный ветерок,
и стрекоза трубит воздушную тревогу.

Засну и, наконец, услышу голос твой,
горячий, как лучи полуденного солнца,
и мудрая пчела стрелою золотой
над ухом у меня запустит веретенце.

1961

* * *

Я собрала букет из диких роз
и положила утром у порога.
Сегодня начинают сенокос,
туман ползет из заспанного лога.

Босые ноги вымыты росой,
и все как в детстве – полые овраги,
береза, клен и вербы над рекой,
и дальних молний яркие зигзаги.

Настоянный на травах день взошел,
еще немного – и растает в зное,
брось сигареты и рабочий стол,
идем со мной в сиянье голубое.

Идем со мной – мы бросимся в траву,
веселой скрипкой встретит нас кузнечик.
Луч запоет. Погасит синеву
над нами только запоздалый вечер.

1961

* * *

А. Ш.

Поют цветы, играют в листьях звезды,
срываются в высокую траву,
на даче кто-то забивает гвозди
в прозрачную ночную синеву.

Бреду бесцельно по ночному лугу,
за мною вьется комариный звон.
Давно когда-то, подтянув подпругу,
уехал мальчик, – не вернется он.

Вновь за рекою ласковое ржанье,
и фырканье, и легкий стук копыт.
Щемящею тоской воспоминанье
к огню костра, как бабочка, летит.

1961

* * *

Бывает счастье трудным, как беда.
Я у себя, – и окна потемнели.
Кому любовь давалась без труда?
Кто не дежурил ночью у постели?

Скитаясь по камням чужих дорог,
моя душа сбежала от участья.
Еще июль, а тополь весь продрог,
не удержал веселой птицы счастья.

Лишь радуги на небе яркий след:
зеленый, красный, золотой и синий.
Есть радуга, а птицы больше нет,
не выдумать, не вылепить из глины.

Я не хочу ни трезвости, ни снов,
ни плакальщиц тоскующего слова,
я лучше в горе превращу любовь
и буду жить спокойно и сурово.

1961

Фото 1950.

Запретная речь

* * *

Покоя нет, – и он не снится нам,
заройся в нору, – нет норы невзрытой,
всем есть и пить из одного корыта,
потворствовать убийцам и глупцам.
Чтоб вырванный язык осиным жалом
или мочальной тряпкой заменить? –
Нет, не хочу такою жизнью жить,
не для того я сердце воспитала.

1952

У СТЕН ТЮРЬМЫ

Мне в одиночестве с метелью
ночами город проходить.
У стен тюрьмы лежит постелью
булыжник серых мостовых.

Устала. Чернотой отёчной,
змеиным шевеля хвостом,
всё та же очередь. Бессрочно
круженье снега под дождем.

Не принимают передачу
и выдают в крови бельё.
Отходят молча. Здесь не плачут, –
здесь всех бессонниц колотье.

А там, вверху, двойным застенком
решетки со щитами, там
все тот же грубый окрик: – К стенке! –
Да переклички по часам.

И арестант во тьме глубокой,
в изнеможенье сна и слез,
услышит выстрел одинокий.
А   плиты отмывает дождь.

Часы столпились. Скоро вечер,
а завтра то же: ночь, метель,
под утро слякоть и навечно –
булыжником лежит постель.

1938

* * *

Крик голых веток под моим окном
напрасно надрывается от боли.
За мглою ставен неподатлив дом,
оглохли стены, втоптано подполье.

Гром сотрясает потолок и пол.
Трусливых душ извечное: – Не надо! –
Я головою падаю на стол,
я буйствую, я не прошу пощады.

Безумье вас не опалит огнем.
Крик – это камень Каина в бессмертье.
Ты споришь с Богом словом и судом –
благословляет пытками и смертью.

Бог всех убил бы – мертвых и живых,
убил бы дважды, укрепленный властью.
Он узколоб, он гнусен и труслив,
он прячется и он грузин, к несчастью.

1944

Отцу

В серой тоске каждый день изнывая,
в этой скук*о*те – кому я нужна?
А на дорогах, под ветром сгорая,
пляшет в зеленой юбчонке весна.

Ночью в окно наплывающий запах,
звезды, летящие прямо на п*о*л,
но в отупении горя и страха –
мыслей и чувств постоянный раскол.

Нет, никогда, во мне нет примиренья,
с вымыслом смерти согласия нет.
Папа, ты здесь, ты в моем исступленье,
раз навсегда повторяемый бред.

Вечно в разлуке. Зачем же я спорю,
полная мерой законов твоих?
Или не этому тайному горю
каждый мой образ и каждый мой стих?

Память – она оживает ночами,
клювом стучится и бьется в окно.
Детство моё выплывает за снами,
падает в самую гущу, на дно.

Снова и снова я все это вижу:
улица, серое утро, конвой.
С тою же болью опять ненавижу,
с тою же мукою и остротой.

Папа, ты здесь, но в полночных беседах
разве меня, хохотунью, узнать,
стала кликушей оплакивать беды,
губы кусая, ночами не спать.

Память – она выплывает из мрака,
звездами снов раздвигается ночь.
Я за всю жизнь пред тобой виновата,
но и такою ты принял бы дочь.

1949

Родина

Шальная, пьющая и нежная, как дым,
с высоким небом над степным разгулом,
Русь разлеглась от северных твердынь,
от моря Желтого к суровым финским дюнам.

Как я гордилась: русскою слыву;
я это имя сквозь войну и беды
штандартом проносила в синеву,
мужала с ним и с ним ждала победы.

Гордилась я, а вот не смею быть,
я не хочу сегодня русской зваться.
Россию зла могу ли я любить?
Могу ли жить – и ею не терзаться?

Я отрекаюсь. Сократи мне срок,
Великий Боже! В горе всенародном
я только выдох, а любовь – зарок
с изгнанником скитаться по дорогам.

Народ, гонимый отовсюду прочь,
во все века, разбросанный по свету, –
я – твой надел, твоя шальная дочь,
а свой народ я призову к ответу.

Пусть встанут Пушкин, Лермонтов, Толстой,
пусть с виселицы, руки простирая,
слетят к нам тени, – и на голос мой
пусть каторга придет, изнемогая.

Пусть встанут вместе Кара и Приказ
и развернут кровавой жизни свиток.
Под хрупкою защитой баррикад
мы не боялись ни смертей, ни пыток.

Я не хочу! Я не могу понять,
как справиться с позорною бедою.
Мне так же надо родину искать,
как и тебе, бездомному изгою.

1949

* * *

Вновь началось и продолжилось. Боже!
Сорок девятый как тридцать седьмой.
Все эти сборища, все эти рожи,
руки, воздетые над головой.
Митинги подлости, злобы, издёвки,
тюрьмы и ссылки, – и так без конца.
Мстящая, выработанная сноровка –
пятен безликих вместо лица.

1949

Панихида

Плач плача моего, печаль моей печали,
скрещенье этих рук, их жалоба, их стон…
Переиначив мир, просеивает дали
внезапный легкий дождь из будущих времен.

Надломлен жалкий жест заплаканной березы
и только оттого, что я вдали стою,
текут их голоса, как медленные слезы.
О как они грустят!…О как они поют!…

Крылом «скорбящих всех» накрыла панихида
осиротелый мир при лепете дождя.
Пусть ангелы поют – во мне встает Обида, –
он «смертью смерть попрал», но не вернул тебя.

1950

* * *

В. Т.

И жизнь не дрогнула, и сердце не упало,
как в пропасть черную, не покатилось вниз.
Как прежде, голос девочки лукавой
не замолкает, безмятежно чист.

Все так же мы работаем спокойно,
улыбкою приветствуем гостей,
как и вчера, склоняемся сегодня
над кипою газетных новостей.

Но где-то там, в глубинах подсознанья,
все заглушая, раздается крик.
В нем боль и стыд последнего прощанья,
комок всех наших бедствий и обид.

Любимая, нет хуже отреченья –
чужую жизнь трусливо замолчать,
отдать тебя под плети, в отупенье,
на каторгу, на рабский труд отдать.

Пусть руки стен не могут сдвинуть с места,
под пыткой страха сердце изошло...
Где наш язык? Зачем нам лгали с детства,
что можно жить открыто и светло?

Где наш язык, подобный грому меди?
В начале мира Слово было Бог.
Измызгали его и изгалдели,
первоначальный исказили слог.

Любимая, заговорить не смея,
мы мечемся. Прости же нас, прости!
Своих детей и совесть не жалея,
мы лжем и лжем на избранном пути.

Нам нет исхода. Только в сердце мука,
да по ночам изъевший душу бред,
а жизнь твоя, повернутая круто,
упала в стены, жизни больше нет.

1950

* * *

И. С....ну

В дворцах и сенях, под охраной пушек,
играя царской властью, как мячом,
кровавой пыткой ты отводишь душу,
а мы объяты непробудным сном.

Чего дрожишь? Ведь мы и так покорны,
мы, славословя, предали себя.
И только мысли живы и упорны,
ни расстрелять их, ни сослать нельзя.

1951

* * *

Исхлестанная страхом, я кричать
уже не смею. Ночью в исступленье
я падаю в бессонную кровать.
Бегут часы, томит ночное бденье.
Заснуть!.. Заснуть!.. И в сонном отупенье
не думать ни о чем, не вспоминать.

Не размыкай горячих рук кольца.
В душе моей и ночь, и недоверье.
От твоего склоненного лица
рассеется пустое суеверье.
Гляди!.. Гляди!.. Вот снова морда зверья
и страшная улыбка подлеца.

1951

Крик

Вдруг закричать, чтоб тяжесть стен разрушить,
чтобы решетки тюрем расшатать,
чтобы тоска задавленная в уши
глухонемым отважилась кричать.
Очнитесь же! Уходит час за часом!
Вас не спасет благополучный быт.
Над родиной, над партией, над классом
дух времени уже свой суд вершит.
Тоска моя – она кричит из бездны,
свободной жизни просит у судьбы,
но стены немы, муки бесполезны,
бессмысленны усилия борьбы.
Не верю!.. Нет!.. Не жалкий и безвольный, –
здесь человек, здесь мужество и мысль;
вы слышите, с нас россказней довольно,
вранья, зазнайства, обнаглевших лиц.

Вы слышите: уже на голос мщенья
встают слова жестокие, как смерть,
исчислены все ваши преступленья:
убийства, тюрьмы, каторга и плеть.

Тоска моя – она кричит от боли,
она взывает о большой любви.
Все что угодно – только б жить на воле,
все что угодно – только б жить с людьми.

1951

Тамерлан

И. С......

Раб Власти я, – а Власть моя страшна:
она бушует над землей, как море.
Мятежникам несу я меч и горе,
смирившимся – тяжелый труд в позоре, –
и эту чашу выпить вам до дна.

Я всех взнуздал. Рабы моих велений,
я поношу и презираю вас.
Лишь всходы те, что кровью я посеял,
взойдут для жизни. Я назначил час.

Я стрелы разошлю свои повсюду,
и всадники раскосые мои
топтать копытом ваше поле будут
и жен возьмут, и дети позабудут
в жестоком рабстве про дома свои.

Восставшим – гибель! И покорным – гибель!
Единой воле подчинитесь все.
Я душу вашу разопну на дыбе,
над кровью вашей не взрасти траве.

Испепелю дыханьем новой жизни,
замкну ее в отчаянье и тьму.
Лишь власть моя – одна для вас отчизна,
смешны мне плач, надежды, укоризны, –
по замыслу живите моему.

Простерши руки – я гляжу на Запад.
Восточный деспот – вождь народов я,
как спрут свои протягиваю лапы,
и служат верно мне мои сатрапы,
и нет нигде всесильнее царя.

Я Тамерлан. Моей страшитесь кары.
Я для себя не знаю рубежа,
но мне во сне мерещатся пожары
и раб, поднявший пламя мятежа.

1951

* * *

Нас обманули яркие слова,
над тем, кто понял, – выросла трава,
кто восставал, – мы убивали сами:
вот этими бессильным руками
вели на казнь мы лучших среди нас
и цепь сковали, и никто не спас.

1951

* * *

В. Т.

Только ночь бесшумными шагами
тихо бродит, не уснет никак,
за тоской метелей, за снегами
не разыщешь в темноте барак.

Всюду только белые сугробы,
обступила лагерь твой тайга,
и, забившись в глубину чащобы,
грусть моя близ сосен прилегла.

Так пишу стихи я до рассвета,
и со мной беседует луна;
ни надежд, ни ласки, ни привета
не приносит злая тишина.

Только здесь, среди ненужных строчек
я тебя, как прежде, нахожу;
чтобы только время заморочить,
стрелки на часах перевожу.

Но из черной и глухой утробы,
там, где снег и грозная тайга,
вылетает в буйстве непогоды
лютая насмешница пурга.

1952

* * *

В. Т.

Приди ко мне ночью, к постели моей,
и тонкой рукою коснись
и сна моего, и печали моей,
и сердца, летящего ввысь.

Пушинкою легкою вдаль унеслось
и кружится сердце во сне.
Коснись же моих поседевших волос,
со мной посиди в тишине.

Я знала такую в тебе тишину,
где звезды летели сквозь ночь,
но горю, идущему камнем ко дну,
и звезды не могут помочь.

Здесь оловом стынет ночная пора,
и сердце срывается вниз.
Бессонницей будет дразнить до утра
плывущий к постели карниз.

1952

* * *

N. B.

Прощай, моя любовь, беру я горсть земли
и думаю: вот все, что мне осталось.
Вся наша жизнь – какая это малость, –
она была, но дни ее прошли.

Вот так и я – мечусь по воле лет,
вяжу на сердце боль воспоминаний,
все мало мне, и в бестолочь желаний
моя печаль заносит хрупкий свет.

Померкнет он. Но я сейчас грущу
не о себе. Тебя, любовь, оплакать
хочу сполна. Но где граница мрака
и где твою могилу разыщу?..

Что эта горсть? – Вот брошу – на руке
лишь невесомый след – след пыли на ладони,
ополосну ее. Жестокий ветер гонит
меня по свету в горе и тоске.

1952

Траурная заметка

N. B.

Nota Bene – траурной заметкой
в жизнь мою ворвался голос твой,
бьется сердце, будто птица в клетке,
задыхаясь, говорит с тобой.

Долог спор наш, долог и упорен,
длится бесконечный диалог.
Голос памяти твоей спокоен,
мой в тоске и горе изнемог.

От земли до сумрачного неба,
в потаённых сумерках души,
тень твоя, все ужасы изведав,
смертные сломала рубежи.

Крадучись, доносом вьётся шорох,
стережет нас грозно тишина.
Тормоша истлевших мыслей ворох,
я мечусь по комнате одна.

Вот она – раскрывшаяся плаха –
наведенный на тебя курок,
в беснованье ужаса и страха
твой палач нас к гибели увлек.

И тобой моя беда большая
здесь была давно предрешена.
Жизнь мою ты скомкал, умирая,
жизнь моя бесславна и темна.

Nota Bene, я не обвиняю,
ты заметка сердца моего.
Я к тебе из сумерок взываю,
жизнь твою творю из ничего.

Гнев и ужас над душой моею.
Боль скрывает горечью слова.
Я тебя любить хочу и смею,
я в тебе и для тебя жива.

Дай же слову силу прорицанья,
дай стиху свой голос, свой закон,
я живу под гнетом ожиданья,
но тобою путь мой устремлен.

1952

* * *

В. Ш.

Было сердце человека целью.
Не легко под пулей умирать,
горькую, безрадостную землю,
словно воздух, пальцами хватать.

Горсть земли все так же равнодушна,
напои хоть кровью, хоть водой.
Были годы горя и удушья,
согнутые плечи под бедой.

Горсть земли – единственная жалость,
ночь идет – ее не продохнуть.
Это все, что памяти осталось, –
выстрел, бьющий тишиною в грудь.

Мир немой, глухой, необозримый,
мир вещей и нашей суеты, –
это он в коварстве нестерпимом
заслоняет милые черты.

Но глаза сквозь вещи снова видят
неба уплывающую высь.
Я учусь смертельно ненавидеть,
вечно помнить этой пули свист.

1952

* * *

N. B.

Прости, что я живу мечтой,
что не могу освободиться
от этой праздной и пустой,
кукующей без т*о*лку птицы.

Прости, что жизнь моя темна,
что горем молодость убита,
что ночь, идущая без сна,
не верит в примирённость быта.

Мои стихи – живая боль.
Мне хочется кричать от гнева.
Не жди меня и не неволь
любовной радостью напева.

«Любовь! Так вот она, любовь!» –
Пустые мертвые глазницы,
и ржавая, как память, кровь,
и брань, и бред передовицы.

Любовь, – а имя не сказать,
и не найти нигде могилы,
сухой песок руками сжать
и ветра слушать вой унылый.

Так вот она, любви мечта,
желанное так долго счастье:
паденье, зависть, клевета
и запрещенное участье.

1952

* * *

Е. и В. Ш., N. В.

Это наважденье, это бред,
разве мало настоящих бед?
Разве смерти не прошла гроза?
Я смотрела в тусклые глаза,
я со лба стирала липкий пот,
кто твое дыхание вернет?

Но еще страшнее провожать,
прикусить язык и крик зажать,
биться ночью, звать его во сне,
лбом прижаться к каменной стене –
и не встретить, а потом года
ждать и ждать... Да это ль не беда?

1952

Ленинград

А. А.

Обворованный ночами город,
был когда-то ты свободой молод,
годы славы по тебе прошли,
но туманы встали от земли,
наступили черные года,
и пришла жестокая беда.

Над тобой ржавеющая осень,
над тобой небес пустая просинь,
жалкие безлюбые слова, –
над могилой вольности трава,
и опять разнузданной рукой
отняты и воздух, и покой.

1952

* * *

N. B.

Как в синем тумане волнуются реки
и внятен им голос живой,
так я полюбила навеки, навеки
пути твоей славы земной.

А сердца удары сильней и короче –
мне память застлала глаза,
и нет ничего утомительней ночи,
где исподволь дышит гроза.

В пыли и в поту, в нищете отрицанья,
завязанный болью тугой,
как листьев опавших сухое дыханье
твой путь у меня под ногой.

1952

Летопись*

Предисловие

Наградой, пыткой, грязным вероломством
воздвигнут блуда нечестивый дом.
Перо мое, суди перед потомством
наш черный день, суди своим судом.
Русь не погибнет. В яром цепененье
застыла жизнь, но будет страшен гнев,
и новое восстанет поколенье
и соберет свой горестный посев.
Взметет мятеж, – и в пламени, и в дыме,
среди законов павших и твердынь
свобода будет с самыми простыми
ложиться у поруганных святынь.
Мой Бог жесток. Ведет путями смерти,
он дал мне голос, но оставил страх,
отчаяньем тифозной круговерти
мы измеряем наш неверный шаг.
Живи, чтоб имя воспевали словом,
не проклинали вкривь его и вкось.
Никто не плюнет, если под забором
околевая, задохнется пес.
А нас задушат грязью и плевками,

---

* Незавершенная поэма. В тетрадях И. Шашковой сохранились только «Предисловие», «Глава первая. Голод» и наброски трех последующих глав. (*Примеч. сост.)*

нас обворует мерзость клеветы,
и дети, надругавшись над отцами,
нам не простят трусливой немоты.
Когда-нибудь возьмут мои страницы
и перечтут мой обветшалый труд,
его не смогут задавить темницы,
и жернова его не перетрут.
И если голос наш услышан будет
через века – мы будем тем горды,
что нашу правду передали людям.
Мы под землей оставили следы.

Глава первая. Голод

Ужасный год – он врезался в сознанье.
Я оглянулась на дела отцов:
на улицах распухшее страданье
слилось в одно ужасное лицо.
Дымилась пища, хлеб черствел в домах,
отпущенный по карточкам на город,
а избы пустовали в деревнях,
и в судорогах, с вшами вырос Голод.
А если кто-то щедрою рукой
давал распухшей тени человека
краюху хлеба или завтрак свой,
он был убийцей. Но уже помехой
для тех, кто выше, у кормил стоял,
была вся эта рвань. Напрасно город
в горячке тифа трупы собирал, –
ложь покрывал скрещенный серп и молот.
Неужли это были кулаки,
лентяи, отщепенцы от наделов –
все эти дети, эти старики
с потухшим взглядом, с потемневшим телом?

Неужли эта мертвая страшна
была не изнуренным исхуданьем,
не желтизной голодного страданья?
С грудным ребенком... Чья она жена?
Где дом ее? – Так это лень велела
ей умирать, так это саботаж, –
чтоб рядом с ней дитя ее истлело
и у груди затихло в первый раз?
Пути колхозов – Голод и по трупам,
весенний сев – в горячечном бреду,
а мы трусливо называли слухом
весь этот мрак – в немыслимом году.
....

И мы учились подлости и страху ,
паясничеству, ханжеству, вранью,
чтоб наша жизнь вдруг обернулась крахом,
чтоб было чем питаться воронью.
Над революцией всходило имя *СТАЛИН*,
по тюрьмам задыхался меньшевик,
поэт скитался в ссылке и опале,
отставленный от дел молчал Бухарин,
последний из последних большевик.
А время шло и шло закрепощенье,
шли цены вверх, и непосильный гнёт
догматикой бездушного ученья
ложился на запуганный народ.
Бюрократизм чиновных аппаратов,
презренье к беспартийным, власть невежд,
наука из дешевых суррогатов,
искусство без полетов и надежд,
несовместимость практики с ученьем,
в синонимах – величье и позор...
Единовластным стало управленье,
и кастовый наметился террор.

1952

* * *

N. B.

Светло и тихо. Входит величаво
с улыбкою бессонною в глазах
твоя давно поруганная слава,
разбитая на мертвых площадях.

Скамью придвинет и садится молча,
и ждет чего-то от моей тоски,
из темноты за ней оскалом волчим
следит измена, и текут пески.

Беспамятство, как туча грозовая,
надвинулось молчаньем без конца,
и я кричу, уже не узнавая
сурового и строгого лица.

Но умирает звук в пустыне ночи
и исчезает легкой тени след,
и только новым ужасом морочит
в окно входящий мертвенный рассвет.

1952

Книги

И книги стали узниками тоже,
и бьется слово тщетно за стеной,
и человек, на палача похожий,
их запирает на засов двойной.

Так нашу память выбелить желая,
вычеркивая всюду имена,
навыворот историю читая,
в тюрьму бросают книги, но глухая,
враждебная в них скрыта тишина.

1952

Суд

N. B.

Слова пусты и мёртвы, – боль мою
не передать рассудочною речью,
стихами только гибель я пою
и гнев рощу. Расстрелянный картечью
терроров всех, задушенный тоской,
раздавленный ублюдками реакций,
он источает снова кровь и гной
в подпольном страхе нерожденных фракций.
Он поднимает черные пласты
разбухшего в молчанье безъязычья:
вот встали в ряд могилы и кресты,
старинное московское обычье
колы вбивать, а книги на костры.
Так страшный год отмечен был двумя –
с жестокой цепкой хваткой узурпатор
и с ним велеречивая змея,
иезуит, спасающий себя,
по части инквизиции новатор,
бесстыднейших предательств прокурор,
вогнавший нож в упавшую свободу,
палач, насильник, изувер, актер,
скрывающий стервятника позор
под гнусный суд, навязанный народу.
Слова пусты и мёртвы, но молчать
не можем мы. Кровь поднимает голос,
кровь вопіет, и мертвый должен встать,
он слипшийся со лба сдвигает волос,
суд начинается – его не избежать…

Философ я иль попросту злодей,
Жозеф Фуше или Василий Шуйский,
шпион, вредитель, мыслею холуйской
глумившийся над родиной своей,
я призываю всех на суд людей –
пусть встанут здесь – француз, китаец, русский.
Я – обвинитель от народа – я,
сидевший в тюрьмах Швеции туманной,
в Японии, в России – я себя
ни защищать, ни обелять не стану,
мне оправданьем будут лагеря
замученных по сталинскому плану.
Я встал из мертвых – прах родной земли,
со мною вместе встанут миллионы,
в историю забили вы колы,
но до небес доходят наши стоны,
и поднимает свой кровавый стяг
в застенке мертвый, ссыльный в лагерях.
Не раз уже за стенами Кремля
соединяли роковые силы
злодейство с гением, и скользкая петля
сжимала горло вольное России,
но мы раскроем всей страны могилы,
чтоб кровью возмутилася земля.
Всё славословье, весь циничный бред,
под маскою свободы – ложь и гнусность,
всё фарисейство – оправданий нет,
пусты надежды на святую глупость,
взбесившаяся тюрьмы строит трусость,
народ безмолвствует, но есть всему черёд,
и даже клевета вас не спасет.
Бесчисленным комедиям числа
нет и не будет – счесть никто не может,
последняя свобода умерла

в застенке с нами, но она тревожит
вас кровью «псов» расстрелянных и гложет
вас страхом дел заплечных мастеров.
Что за боязнь? – ведь расстреляли «псов».
Народ теперь поет и рукоплещет.
Зачем же вы бежите от него?
С такой любовью не ужиться вместе,
крут, видно, повар, замесивший в тесте
свободы кровь и власти торжество.
Акыны с Солнцем ум его сравнили,
он выше гор памирских, глубже вод,
не потому ли наглухо закрыли
еще царями запрещенный вход?
В маниакальном страхе до рассвета
работает гестапо-МВД,
но страх растет тенями кабинета,
он в воздухе, он в небе, он везде.
Грузинский дьявол, чувств иных не зная,
в ознобе ночи – власти жаждет он:
от древних стен раскосого Китая
уже глядит и видит Вашингтон.
Мир затравить. А люди – вздор и пешки.
Мы – винтики и больше ничего.
Власть, только власть... Но кто в углу замешкал,
кто это прячется, зажав в руке орешки, –
и прошлое глядит в лицо его?
Видать, недаром заперты ворота,
солдаты возле пушек залегли,
вокруг Кремля расположили роты:
вас день и ночь грызет одна забота –
сковать покрепче цепи для земли.
Одетый в камень, застекленный вами,
раздавленный цинизмом и враньем,
он тоже здесь на суд последний встанет,
его никто на свете не обманет:
мы Ленина из смерти призовем.

Он смелым был. Под выстрелом убийцы
он шел в народ (палач его и друг),
бродил один по площадям столицы,
у прокуроров не искал услуг.
Его вы тоже окружили стражей,
но вам его суда не избежать,
он вместе с нами беспощадно скажет:
– Суд начинается. Прошу народы встать!

Иезуит и меньшевик из бывших,
наш обвинитель, клеветник и вор,
какое оправданье ты отыщешь,
чтоб смыть с себя неслыханный позор?
Вот и тиран с проворной сворой трусов,
с ухмылочкой – ату, ату, ударь!, –
и вылезла немыслимая гнусность,
сама себя сжирающая тварь.
И в гневе правом вставшие народы
паршивым псом тебя не назовут,
под знаменем бунтующей свободы
без имени растопчут и пройдут.
И будет суд судить наш не сподручных,
а всех злодейств «великого» творца.
Ваш злобный гений, мастер смерти тучной, –
он подсудимым будет. Нам докучно,
нам незачем судить его дельца.

1952

* * *

N. B.

Я листаю книгу. Недосуг
изучать мне имена и даты,
что же я остановилась вдруг
на странице, временем изъятой?

Красною отчеркнута чертой
на полях истории заметка.
Nota Bene – это голос твой,
строгий, иронический и меткий.

Сколько лет искала я тебя,
вот она, свершившаяся встреча.
Почему же застонала я
от ее тоски бесчеловечной?

Это только книга среди книг,
буквы те же, лишь желтей страницы,
тот же русский и простой язык,
тот же тон скупой передовицы.

Но уже не вскрикнуть, не вздохнуть,
смерть твоя мне душу раздавила.
Чем же мне к земле тебя вернуть?
Где живой воды таится сила?

Злой тоскою счет веду я дням,
ярости накапливаю бремя,
кровь живую отдаю теням,
чтобы только вспять вернулось время!

Забери дыхание мое
и живи – твоей я буду тенью,
сквозь миры, в иное бытие
говори с грядущим поколеньем.

1952

* * *

Кружи, мое сердце, и падай стремглав,
земля насыщается кровью.
Что зреет – не знаю, но гибнущий прав
своею бессмертной любовью.

Пусть кровью твоей, насыщая себя,
свободы зерно набухает.
Кружи, мое сердце, ночей не щадя, –
убитый в бою – оживает.

Тебе не растить зеленя и не жать
созревшего в поле посева,
а только безвестною каплею стать
в грядущем народного гнева.

1952

Сонет

N. B.

Ни клеветой, ни болью не убить
во мне любви, растущей ежечасно,
она в волненье вечности – прекрасна, –
из смертной бездны вознеслась, чтоб жить.

Передо мной приказ висит: забыть!
И даже думать о тебе опасно,
но память сердца горестно и властно
повелевает мне тебя любить.

Здесь накрест хлыст перечеркнул лицо,
сжимает петля горло мертвой хваткой,
и ты убит – ликует хор глупцов.

Но под пятой закона и порядка
стучит твой пепел в сердце, спорит с ним,
и гневный голос твой неукротим.

1952

* * *

В. Ш.

На земле большой много есть дорог,
унесли тебя поезда,
пробирается чащей таежный волк,
среди гор кочует вода.

Мне одной шагать от стены к стене,
поезд снова мимо летит,
только сердце мое в беспокойном сне,
как колеса в пути, стучит.

От стены к стене, сосчитав шаги,
бродит ночью моя тоска,
и над ней, сужая свои круги,
память ястребом у виска.

Пароходы плывут по разливам рек,
звезды млечный проходят путь.
Я не еду. Мне нужен один человек,
чтобы все поезда вернуть.

1952

* * *

P. J.

Я не прошу ни счастья, ни удачи,
ни легкой жизни, ни твоей любви.
Пусть плачет сердце, пусть оно поплачет,
слеза не смоет горести мои.

Как изнуряет этот вечный голос –
моих сомнений, поисков без сна.
Что из того, что туча раскололась,
что эту тьму рассеяла луна?

Мне звезд не надо. Я хочу иного.
Дай распознать, где истина, где ложь.
Пусть молнией взыграет это слово
и листья ночью не бросает в дрожь.

1952

Крестинский. 38-й год

Года из мрака – ты идешь ко мне,
а за тобой толпа идет гонимых.
Кровавый призрак чертит на стене
свой страшный путь на место подсудимых.
Ты поднял голос, пламенный протест,
но ты остался в зале одиноким,
все промолчали, и с позорных мест
никто не встал, – и это звали блоком!
Где документы? – все слова, слова.
Один живой среди смердящих трупов,
твой голос замер, прозвучав едва,
и все опять подавлено и тупо.
....

Но он один, из мертвых душ – один
очистил вдруг затравленное имя:
– Я большевик, я умираю с ними,
я мятежей и революций сын.
А ты – палач... Я отрицаю всё. –
Но день прошел, – и был он пыткой сломан,
был заклеймен и припечатан словом,
бесславен, как бессилие своё.
....

Безгласны мы, безгласны, но не слепы,
и тот, кто видит, – может всё понять,
все доводы и выводы нелепы,
история подскажет нам ответы,
живую мысль законом не изъять.
Пусть слову паспорт выдают в Главлите,
стал догматом и палкою марксизм,
но вот он, обнаженный, поглядите,
всё тот же отвратительный, избитый
квасной расейский наш патриотизм.
Всё тот же он, с погромными речами,
заносчивый, упрямый и тупой,
реакция, идущая над нами
ещё с Ивана – грязною метлой.
Но я пред смертью обращаюсь к миру,
Москве *сегодня* говорю: он миф,
к сегодняшнему жалкому кумиру
Русь на века презренье сохранит.

Крестинский смолк, расстрелянный, но имя
его прожгло всех жаждущих в ночи,
и среди чада от костров и дыма
вдруг дрогнули в испуге палачи…

1952

Январь 1953

Черной ласточкой неутоленной скорби
сердце в моей груди,
зимний ветер деревья горбит,
а ночь – не видать ни зги.

Что может еще страшнее случиться!
Кто это, сыч или грач?
О чем вы кричите, хищные птицы?
– Перестань, не плачь!

– Деточка, у вас температура сорок,
лежите спокойно, бред пройдет,
бывает такое – наснится с короб,
а затем крутой поворот.

Вот он… Разве не бредят стены:
– Отравитель детей, палач! –
И опять этот ветер без перемены:
– Погоди, не плачь!..

Январь 1953

* * *

Белый пух взлетает и кр*у*жится,
живой комочек из перьев,
горлинка пьет из лужицы
сентиментальных поверий.

Рисуйте на всех плакатах,
с картин Пикассо – да в небо,
маленький дух крылатый,
даждь днесь хлеба!

Блаженны верующие, а нищие духом,
вот такие, как я, к примеру,
горланят в ночь и в каждое ухо:
– Не верьте! Не надо верить!..

[Январь – февраль] 1953

* * *

Одна и та же ложь. Из бездны черной ночи
воздвигнут эшафот. Удары все короче,
все явственней взлетающий топор
и все темней, все глуше наш позор.
Достоинство, поверженное в прах.
Забытое на шумных площадях,
разодранное в клочья наше знамя,
моя навек отравленная память,
мое отчаянье, ночной мой бред…
Куда бежать и где искать ответ?

1953

* * *

Одна ли я мечусь и плачу
и вижу ночь, и наудачу
ищу дорогу между троп
запутанных, глухих, сожженных,
непройденных и обойденных,
покинутых тобой, Эзоп.

И даже твой язык лукавый
страшится нашей горькой славы,
и память в ужасе молчит.
Она бессильно плачет ночью,
в ее упорном средоточье
тоска безмолвие хранит.

Так у дороги мшистый камень,
исс*е*ченный вконец дождями,
остаток брошенных могил,
лежит, скрывая прах забытый,
не помнит, кто под ним, убитый,
и чье он сердце раздавил.

1953

* * *

Но сейчас идет другая драма.

П.

Ты там – в застенке, среди хлама
ненужных, обреченных книг,
а здесь у нас другая драма,
иная жизнь, иной язык.

Не обвиняй. Пусть мы не правы,
пусть безысходна эта роль,
но на подмостках нашей славы
есть вдохновение и боль.

Пусть жизнь попрали нынче смертью
и не подвинуть реки вспять,
но я грядущему столетью
могу свой день продиктовать.

1953

* * *

P. J.

…Ты слышал пули резкий свист,
знал все потери и тревоги,
но пылью занесенный лист
умел увидеть на дороге.
И было в нежности твоей
такое горькое смятенье,
ты жизни слышал дуновенье
среди обломков и камней.
Среди развороченных скал,
под грохот пушек и бомбежек
ты след надежды различал –
след маленьких беспечных ножек.
Большой и трудный человек,
печальный и всегда суровый,
ты приносил в жестокий век
свое взволнованное слово.

1953

* * *

Я не хочу!.. И снова прежний ужас
январским ветром воет на погром,
и снова, снова не уйти от стужи,
ворвался страх и закачался дом.
Но вот сквозь ветер диктор бросил слово:
– На плечи гроб! – Зиме настал конец,
с надеждою мы вглядывались снова,
а март шагал и багровел мертвец.
Уже виски давно посеребрились,
уже морщины залегли у глаз,
а мы, как дети, на весну молились,
а мы, как дети, плакали, смеясь.

1953

Поэту

Ты, не вдыхавший смрадного дыханья,
не знавший наших молчаливых слез,
о, не суди за ужас прозябанья,
за вечный страх, за песенный навоз.
И, гордый, помни: ты рожден тоскою,
безмолвием и гнетом тишины,
ты – наша скорбь, и мы своей рукою
твои сегодня начертали сны.
Мы, в поколеньях ставшие позором,
мы жили тем, что ты еще придешь,
что, наконец, освобожденным словом
ты наши цепи в гневе разобьешь.
Я буду жить, и груз моей печали,
мое бессилье, мой трусливый бред
ты превратишь в разящий меч из стали,
свободный и взыскующий поэт.
Приветствую, ты – вся моя надежда.
Прочти же сам в анналах наших дней,
как голому ничтожеству одежду
мы выдумали низостью своей.
Как, задыхаясь, мы кричали: – Браво! –
Рукоплескали собственным цепям.
Иди, иди – тебя венчает слава,
приснившаяся горю и ночам.

1953

* * *

В. Ш.

I

Из этой комнаты мне не уйти,
хоть криком кричи до утра,
и поезд тебя не настигнет в пути,
ушедшее с детством – вчера.

А если посмотрит в глаза мне любовь,
подачку бросая на стол,
я кинусь к окну: – Только кровью за кровь!.. –
Но ты не за этим пришел.

Ни гневом, ни нежностью мне не понять…
А выйти – но выхода нет…
Прижаться щекою, за плечи обнять,
вымаливать горем рассвет.

Не знаю… От стен задыхается ночь,
порог обрывается в тьму.
Уходишь… Ты тоже не можешь помочь
в отчаянье дню моему.

II

Не смотри в глаза мне,
руки опустив,
сердце серым камнем
замыкает дни.

От тоски, от боли
некуда сбежать.
От кабацкой голи
песню зачинать.

Ой ли грянут струны
в половодье дней.
В тишине канунов
посвист: – На коней!

Пылью начадили.
– На прицел царя! –
Отшумели были,
были Октября.

Отзвенел копытный
по камням трезвон.
Тот же ненасытный
крик со всех сторон.

Стенькой, Пугачевым –
в зарево болот,
кто-то встанет Новый,
с гиком запоет.

Ой, за той ли волей,
подымая рать,
от кабацкой голи
песню зачинать?

1953

Освобождение врачей

Давно ли?
тоска моя по комнате металась,
о стены билась,
задыхалась ночью,
не видела рассвета,
звезд не знала –
и вдруг разрыв –
и воздух стал прозрачным.
(Я облилась счастливыми слезами!)
А раньше воздух
был кровавым сгустком,
а раньше он давил...
Я глаз не поднимала,
я язык
до синевы багровой прикусила.
Чтоб не упасть,
я в памяти искала
отчаянье накопленного гнева
и горстью праха обжигала руки,
дыханьем – ненависть звала
и горько
над собственной надеждой потешалась...

1953

* * *

Судьбы вершители, вас тоже страх сковал.
Чего боитесь – правды или тени?
Он мертв уже. Ушел за перевал,
исчез тиран, нас выбравший мишенью
на стрельбище... Но нет уже его
с мертвящими до ужаса глазами,
зачем же мы тупое торжество
и эту ночь здесь продолжаем сами?..

Быть может, вы безволием больны,
не верите, не можете поверить
и сами вы в предчувствии вины
свободою хотите нас обмерить,
хотите этой тенью обмануть,
хотите полумерами заставить
пред низостью все так же спину гнуть,
все ту же ложь, все ту же муку славить.

1953

* * *

Сталин и Ленин –
козыри в масть, –
служит обедни
черная власть.
Служат над нами
вечный псалом
Ленин и Сталин –
цепь с батогом.
Там, в Соловках,
узел связанных троп:
вечного страха
и вечных мерзлот.
И рукоплещет
кровью из ран
с смертью обвенчанный
Ма – г а – дан.

1953

Награда

(выдана была Вышинскому)

Быть может, я этою ночью забилась
в припадке тоски, чтобы выдумать бред?
Опять торжествует безликая низость,
опять за решеткой надежда и свет.

Не надо!.. Не надо!.. Мы помним облавы,
ночные разъезды, позор и режим,
как рьяно и злобно чинил он расправы,
как славу лакея себе заслужил.

[Декабрь] 1953

* * *

В. Т.

Ни дня, ни ночи – только ты одна,
и каждый шорох в комнате – свиданье,
как будто возвращает тишина
шаги твои, твой голос и дыханье.

Вскочить, бежать, открыть скорее дверь…
Но только там, на лестничной площадке
тоска моя ощерилась, как зверь,
забилась штора на окне в припадке.

Сквозняк ворвался стоном поездов,
кричащею тоской автомобилей,
ты не пришла – все двери на засов,
спать, только спать, пить бром и обессилеть.

Упасть, как в яму, и не видеть сна,
не слышать ветра. Ничего не помнить,
но что же ты там делаешь одна
среди казенных, выбеленных комнат?..

Беру перо, чернила и пишу.
Ну как, скажи, мне разбежаться строчкой,
когда, как листья, память ворошу,
и спотыкаюсь в запятых и точках.

Ну как, скажи мне, словом написать,
что я люблю, что нет ни в чем забвенья,
что никогда я не устану ждать
единственного в мире возвращенья?

...И будет час – взорвется тишина.
Все та же, молодая, в облаченье
цветов и звезд, сюда войдет весна,
задержит время на одно мгновенье.

1954

Годовщина. 5 марта 1954

Уж полный год прошел, а, кажется, века
все так же давят нас тяжелыми пластами,
несет, как прежде, в ночь свинцовая река
глухие волны за глухими днями.
Себе не веря, мы еще живем
под тенью гроба, скованные духом.
Как беззащитен под ветрами дом,
как он скрипит, как предается слухам...
Они ползут – в них тайный яд тоски
радиоволн, заброшенных в эфире,
гул океанов, взмытые пески,
вопль о войне и все статьи о мире.
Найти себя – дышать, дышать, дышать,
чтоб этой тени след исчез навеки,
чтобы ее истории предать,
судить ее, а не чинить прорехи.
Был страшен день, когда заполнил мир
мертвец собой от Севера до Юга,
Сахара жгла и цепенел Памир,
а над Москвою задыхалась вьюга,
последняя, быть может, в том году.
День набухал весною и надеждой,
а мы не знали в траурном чаду, –
что это? – роздых или все как прежде…

Что это? – горя новый разворот
или возврат к искусству и науке,
ко сну без страха, ко всему, что ждет,
что только ищут творческие руки.
Уж полный год… Всему приходит час,
и я тебя из ссылки ожидаю,
я жду тебя, я дни уже считаю…
Увижу ли?.. А вот отца нигде
не встречу я, – земля не возвращает,
лишь отблеск лунный тает на воде
и в глубине беззвучно пропадает.

1954

* * *

P. J.

Я тоже верила в рассвет,
его ждала я много лет,
а ветер выл и степь кругом
была распластана дождем,
и поднимался третий Рим
над миром мертвым и пустым.

1955

Из поэмы «Лейтенант Шмидт»
глава XXI*

Убежала вода в песок,
солнце выжгло траву до тла.
Утро – это не твой Восток,
твой завязан петлею зла.

Говорят, что у нас с тобой
та же родина, та же жизнь,
почему же над головой
у тебя тюремный карниз?

Говорят, что язык один,
тот же русский у нас язык,
почему же, ответь, твой сын
головою к столу приник?

Говорят, что в бою погиб
твой веселый любимый брат,
где-нибудь, среди русских лип
он зарыт как русский солдат.

---

* Стихотворное послание к В. Г. Трамбицкой. (*Примеч. сост.*)

Почему же сегодня ты
далеко за чертою лет,
и, чтоб умерли все цветы,
сквозь этапы прошел рассвет?

Ты еврейка, а я к стыду
не могла понять до сих пор,
что куда-то в пропасть бреду,
на распятие и позор.

Но не этот единый срам
на душе моей как нарыв, –
виноградаря русский хам
гнал прикладом из гор родных.

Нету больше сакли в Крыму,
все разнесено под базар,
вдоль дороги, вдоль шпал, в тифу,
за Уралом могилы татар.

И прозрачный молчит фонтан,
не роняет жемчужных слез,
у Байдарских ворот бурьян
куст гранатовый перерос.

Одичавший в горах миндаль
по лесам доживает век,
и в железобетон и сталь
живописный берег одет.

Есть одна татарка в Крыму,
но русалочий взгляд грустит,
загляделась она во тьму, –
а над ней – тяжелый гранит.

Как случилось, что тот, с кем я
так близка, как никто другой,
сапогами топтал тебя,
с автоматом шел за тобой.

Нет, неправда, – они, как чад,
лишь въедаются нам в глаза,
вот и ты вернулась назад,
и прозрачна твоя слеза.

Жизнь не вытравить и не сжечь,
занимается наш Восток,
хорошо на поляне лечь
или руки зарыть в песок,

а потом побежать к реке
и разбрызгать солнце вокруг,
я с тобою была в тоске,
но и в счастье тебе я друг.

1955

Траурный марш

С четырех ступеней начинался обрыв,
в эту пропасть летели года.
В сером френче, над бездною глыбой застыв,
человек подгонял поезда.

И товарные в бездну срывались под стон,
под истошный, задушенный крик, –
провожающих гнал от забитых окон
часового отточенный штык.

А в вагонах молчали сурово и зло
и срывались в отсеки могил,
некто в сером их всех забривал нагол*о*,
всех подряд в каторжан обрядил.

А его положили сейчас в Мавзолей,
положили под траурный марш.
Среди пышных знамен, среди блеска огней
совершался убийственный фарс.

Как поверю рассвету? Как ложь отличу?
Как пощечину смою с лица?
Он повсюду, он с нами, но я не хочу
жить опять под пятой мертвеца.

Не хочу на коленях ползти и молчать,
лучше броситься грузно на штык,
до тех пор, пока марш ему будут играть, –
будет гнев и тоска, будет бездна зиять,
будет скован народа язык.

Не хочу… Даже если он воином был,
за ослепшую в горести мать,
за растленье детей, за мильоны могил
надо мертвым его расстрелять.

1956

Бессмертный

Злодейством он воздвиг над рабством монумент,
надменная пята нас медью придавила,
Москва вздымала волн кровавое кадило,
знамена прятала под занавес, в брезент.

Громады крепостей над бездной вознеслись,
грохочет над людьми слепая канонада,
так двадцать с лишним лет под марш его парада
мы шествовали с ним и в верности клялись.

Вот он лежит в гробу, распухший, но живой
в комедии царьков, им в смерти порожденных,
чтоб мы вдыхали яд его речей погромных
и партия была народною тюрьмой.

Он в тысячах теперь, он выполнил урок,
свой образ он сумел в безличье обессмертить,
и мы рабы его, над нами те же плети
и та же власть, и тот же страшный Бог.

1956

Венгрия

P. J.

Каждый раз прохожу по следам,
что-то слишком петляет строка,
как послушна твоим сединам
непокорная прежде рука.

Не в упрек я тебе говорю,
я сама промолчала года,
и за то, что убила зарю,
надо мною сгустилась беда.

Не дала ни минуты заснуть,
подобр*а*лась газетной строкой,
мокрым снегом сквозь серую муть
залепила окно надо мной.

И опять я всю жизнь предаю,
эта подпись не только твоя, –
расписался за душу мою,
расписался, – и падаю я.

Я трусливо сжимаюсь в комок:
пусть задушена будет она
(вам, безумцам, хороший урок), –
эта в ранах разбитых дорог
вся расстрелянная страна.

1956

* * *

П.

Распяли человека. Гвоздь вошел
в сплетенье мышц и язвой угнездился,
от мух и слепней лик Твой исказился, –
Бог стал бездомен, одинок и гол.

Настигнув смертью, крепко палачи
Твою могилу камнем придавили,
и не пришли ученики к могиле,
не зазвенели в сумерках мечи.

А Ты воскрес, но вместе с плотью был
изранен дух. Персты свои вложите…
В водовороте тяжб и всех событий
нас этот крест бессмертьем осенил.

Бессмертьем боли, и вотще вокруг
пытали чудо разумом и скукой,
я вижу в язвах вскинутые руки,
рот искаженный и злорадство слуг.

1958

* * *

Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

П.

Вопи, взбесившаяся свора
вольнонаемных палачей,
невежд и трусов всех мастей,
вопи, пьянея от позора,
ликуй от подленьких речей.

Гони его, трави и мучай,
еще представится ли случай
в живую душу врезать клык?
Ведь душ живых совсем не стало,
он здесь один, – и в реве зала
его звериный суд настиг.

Там, на подмостках, волны света,
и чашу надо пить до дна, –
ему вакансия поэта
отныне миром вручена.

1958

* * *

П.

Опять настигла ночь меня
всей безнадежностью молчанья,
перехлестнула мне дыханье
холодной хваткою ремня.

И только музыка в беде
все так же миру прекословит,
а мелкий дождь в окне злословит
о нас, о них и о тебе.

Еще циничнее и злей
псы вторят фарисейству века,
и просит милости калека
у бронир*о*ванных людей.

А ты один. Сквозь сумрак ночи
смотрю – и музыка во сне
звучит все ближе: Авва Отче!
Не пронеси! Даруй и мне!..

1958

* * *

От слез едва бреду на ощупь:
– Вернись!.. Не уезжай! –
Нет слова горестней и проще
короткого «прощай!»

Давно с непроходимой болью
считаю я года.
Мой хлеб посыпан крупной солью
молчанья и стыда.

К замученным бросались дети,
искали жены смерть,
но уходящим на рассвете
дала я умереть.

Жизнь отшумела… Ни желаний,
ни радостных замет.
А в сердце горьких расставаний
неизгладимый след.

От слез едва бреду на ощупь:
– Вернись!.. Не уезжай! –
Нет слова горестней и проще
короткого «прощай!»

1959

* * *

П.

Рыдала музыка. Рукоплескали громы.
Взывали ветки. Ливень тучи гнал.
Река меняла на ходу изломы,
а конь сквозь ночь, как буря, как обвал.

Он рвал мосты, он путал переправы,
он был исполнен гнева и тоски,
где он скакал – там прорастали травы,
где бил копытом – пролегли пески.

И вот упал, – и озеро, синея,
небесной чашей расплескало звон.
Упали слезы, на ветру немея,
в чужую гущу странных похорон.

1960

* * *

П.

Умер Пан… Не стало больше песен.
Мир умолк. Зияет пустота.
По церквушке луч скользит отвесный,
но она пуста, пуста, пуста.

Проводили. Выкопали яму
и ушли… И все кругом молчит,
а над деревянными крестами
только ветер листья шевелит.

Жизнь, как поле, в полночь отшумела,
на губах дыханья не найти,
у пустого мертвого предела
кончились бессмертные пути.

И опять убийцы торжествуют
над едва притоптанной землей,
но трава с могилою вплотную
вырастает сочной и густой.

Снова мы – пустые фарисеи,
по карманам пряча кулаки,
одобряем темные затеи,
отменяем начисто венки.

Снова мы… Но ты простил заране,
ты простил… Куда деваться нам!
На заре, в предутреннем тумане
мир оглохший рвется к небесам.

1960

Рихтеру

Обнаженных струн коснулось сердце,
разрыдалось в птичий перепуг,
клавиши хотели отпереться,
вырывались, избегая рук.

Отрекались трижды – все едино
ты их смертной боли подчинил,
хлынули молением о Сыне
над бездонной пропастью могил.

Поздней ночью отзвучало слово,
замер звук среди высоких трав.
Смотрит вечность горько и сурово
на густые купола дубрав.

1960

* * *

А. И. Б.

Сквозь одиночество взывает жизнь в стебл*е*,
бессмертная любовь не знает снисхожденья, –
я реквием тоски, я треба по тебе,
и стон, и гнев, и плач, и горечь примиренья.

Не тень идет ко мне, не память, – ты жива,
во мне твое тепло, и кровь твоя, и сила,
портрет отяжелел, а нищие слова,
как пчелы мертвые, под временем застыли.

Я здесь – прими мольбу! Я смертью смерть попрал,
ты тоже здесь со мной – и нет для нас разлуки.
Я звал тебя всю жизнь и, наконец, призвал,
сквозь панихидный плач твои сжимаю руки.

1960

Советским писателям

О доблестные храбрецы,
булгаринское племя,
зачем так рветесь в подлецы
за этими и теми?

Какое прошлое у нас
постыдное, немое, –
вам лучше не казать бы глаз,
а не кричать о бое.

Какой тут бой, здесь кулаком –
и то не после драки.
Прикажут – сядете рядком,
послушны, как собаки.

И ну начальству подвывать,
а шепотком – ругаться...
Уж лучше попросту молчать,
чем с мертвыми сражаться.

В живых остались их дела –
дух лжи и фарисейства,
по-старому метет метла,
и в сборе всё семейство.

Здесь низость с подлостью живут
в содружестве убогом.
Злодейство изгнано, но тут
мы ходим все под Богом.

А коль нельзя не написать
и рвут строку зарницы,
то лучше сразу начинать,
как начал Солженицын.

1962

Победа

Кровавое солнце в дымящейся мгле
взошло над венцами столицы,
и реки тоски потекли по земле,
заплакали вещие птицы.

Где были стада – там пустыня легла,
где люди любили и жили,
не пушек ли скрежет, не серая ль мгла, –
они ее чем заслужили?

О дева Обида, где крылья твои?
Над Чехией тучи и громы –
топочут солдаты не чешской земли
и ищут под танки соломы.

Теперь ордена мы свои раздаем,
«спасители» низости черной,
себя славословим и славу поем
над горем – победе позорной.

1968

* * *

О тебе ничего не скажу –
ты святыня.
Я к иконе, будто к ножу,
рот, порезав в кровь, приложу
и застыну.
Я застыну свечой в ночи
на могиле.
Нас связали с тобой палачи
черной силой,
нас с тобою свела Нева
и свинцовая стужа.
Все слова – это только слова,
ты мне нужен.

1978

* * *

В. Ш.

Спасает нас вселенский стыд
и убивает мрак надежды,
разделим гибель на двоих,
как счастье мы делили прежде.

Тебя ведут в последний путь,
я умереть с тобой готова.
Единой пулей, прямо в грудь
сперва тебя, потом любого.

Кровавой поступью владык
прошествовало государство,
и режут узнику язык,
чтобы не мог он оправдаться.

Чтобы не мог он обвинять
с посмертно выданной трибуны.
В последний раз хочу обнять
попавшего под шаг чугунный.

1978

* * *

Я стыжусь –
это было с Анной,
милый друг, это было с Анной,
это было с нашею Анной.
Я стыжусь.

Оглашением, а не тайно, –
убіеніе не случайно, –
это грех наш союзный, свальный,
наша грусть.

Я стыжусь перед целым светом,
что не бросилась я к ответу,
что позволила, как Одетту,
ее в озеро тьмы загнать.

А была она нашим светом,
и пристанищем, и обетом,
нашей песней, в горе пропетой, –
вся пречистая благодать.

1978

Ты ль, Алиме

Ты ль, Алиме, вся в сиянье кудрей,
спутанных ветром сухой Киммерии,
ты ли, Зейнеп, – отрешенье очей
в тьму кипарисов и пламя глициний.

Или твоя крохотулечка мать
в хлопотах о сыновьях и о доме?
Все вы устали ко мне простирать
горем обугленные ладони.

Как самоцветы алуштинских звезд,
ласковы были слова Сейт-абрама.
Что же, Снегурочка, в плаче без слез,
что ты читаешь? Не стих ли Корана?

Что ты дала им за всю доброту,
за излучение роз и дорожек,
за это дерево в полном цвету,
соком айвы проникающим в кожу?

Что ты дала им?.. И где Сейт-мемет,
пылкий татарин, поэт и влюбленный?
Там, за Уралом теряется след
всех опалаченных, всех обреченных.

Может быть, в битве погиб Сейт-умер?
Может быть, кто-то скончался в остроге?
Жив или мертв, но все тот же размер
мне торопливо вручают дороги.

Сакли не жмутся, татарская речь
только, как эхо в горах, пропадает.
Как ты старалась ребенка развлечь,
как твой язык и зовет, и прощает!

Где ты – вся прелесть, вся нежность, Зейнеп?
Здесь же торгуют и морем, и ветром.
Все продают. Крым от горя ослеп
и отдает им свои километры.

Господи! Как эти люди чужд*ы*
Черному морю, горам и соцветьям,
и расточают в грехе без нужды
все твое смуглое великолепье.

Крым, ты их пестуешь, чтобы в разнос
легче им было торгашество это,
но солонеют от горя и слез
море, земля и звезда Магомета.

1978

Зейнеп

Заплетаешь косы, Зейнеп,
десять змей по плечам сбегают,
демон моря свой тайный свет
на твоих плечах обнажает.

Смуглоту твоих стройных ног
омывают пески изгнанья,
села мать на чужой порог
переплаканного страданья.

Ветер голос в пустыню снес,
не докличешься из пустыни.
Бьет волна о сырой утес
и никак к тебе не дохлынет.

1984

* * *

Сталин, Гитлер и Мао Цзедун –
три дракона, съевшие век.
Птица вещая Гамаюн
пела тризну тебе, человек.

Птица гордости и тоски,
птица скорби и вечных мук,
загоняла тебя в тиски
их огромных когтистых рук.

Три дракона, простор губя,
грызли землю в могильной тьме,
чтоб никто не вернул тебя,
чтоб никто не пришел к тебе.

Улетали птицы в леса,
уходили звери в тайгу,
очерствелые небеса
насылали смертей пургу.

Били молнии в дом и сад,
срыли все, что могли, они,
не вернуться тебе назад,
не увидеть прежней земли.

Сталин, Гитлер и Мао Цзедун –
три дракона, съевшие век, –
это голод, смерть и самум,
как же ты уцелел, человек?

1978

* * *

А. В.

«Планета, как Ленин,
мудра и лобаста».
Всеведенья гений...
Не верю – и баста!

Таким гениальным
рождаться не надо,
был честным кристально
палач Торквемада.

Малюта Скуратов
бежал воздаянья,
а Каин за брата
писал покаянья.

И плыл Джугашвили
над бедной Россией,
чтоб трупы забитых
над ней голосили.

Чтоб не было больше
нигде человека,
запродали в Польше
бессмертное гетто.

Чтоб кровью взыскали
и с нивы, и с пашни,
упали на землю
венгерские башни.

И чехи смесили
с землею и кровью
святого мессию
с Московской любовью.

И все это сделал
великий лобастый,
планетою ведал,
как бедною паствой.

Ему бы такое –
да спит в Мавзолее,
а время все хуже,
все лживей и злее.

1978

* * *

Л.

Изо всех щелей веет холодом,
ото всех полей – ветер с голодом,
обступила тьма безъязычная,
ничего, мой друг, жизнь привычная! –
жизнь лимитная – песни с плясками:
затанцованы, переласканы.
Все забудется, перемелется,
а кровавый дым где-то стелется,
и плывет звезда по отрогам гор
в беззащитный мир, на его простор.
Слюдяной крови льется черный свет,
где цвела земля – там дороги нет,
и над Польшею занесен топор.
Нас покинул Бог на вселенский мор.

1982

* * *

Царской славы невзрачной
погасив имена,
мы дорогою мрачной
прошагали сполна.

Сыты хладом и мором
пятилеток стальных,
проходили с позором
и восторгом сквозь них.

Это наше наследство,
подвиг наш и укор,
в наше трудное детство
обращаемый взор.

Там, в начале тридцатых
голод, тиф да тиски,
по дорогам проклятым
люди шли в Соловки.

А потом полный страха
и расстрелов, и тюрьм
год, возникший из мрака,
стал властителем дум.

Так тропою Гулага
шла к «высотам» страна,
не дошла лишь полш*а*га
до фашизма она.

Обнялись с Риббентропом –
свой был в доску браток.
Как потом он затопал
на Восток! На Восток!

Но Россия восстала,
и родные снега
кровью орд напитала,
изгоняя врага.

Вновь тогда оживился
наш народный упырь,
в душу Родины впился,
в окровавленный мир.

И опять, повторяя
свой обычный прием,
он, народы карая,
их ссылал под огнем.

Этот маленький, нищий
и рябой человек
был стервятник и хищник, –
тем и кончил свой век.

А за ним и другие
поднимались с кнутом,
чтоб по нашей России
батогом, батогом.

Да внезапно «Двадцатый» –
гром средь белого дня –
нас с Никитой сосватал,
спас тебя и меня.

Но на совести нашей
тот Венгерский погром,
пили горькую чашу
мы и с Польшей потом.

Вот в Афганские степи
посылаем детей,
и живем все нелепей,
и живем все подлей.

1983

* * *

И. Б., Б. А.

Все плачешь ты о мертвых. О живых
утраченных твой голос не взыскует,
и если утро в лоб тебя целует,
ты все о них свой начинаешь стих.

Ему воздай – волшебник чернокнижный
в изгнании звонит в колокола,
не забывает наш язык бесстыжий.
Его воспой. А ты с ума свела

всех снегопадами, соцветьями – реченьем
гортани певчей, с умыслами тайн
заговорила медленным паденьем
дождя и снега в мартовскую рань.

А вот ему в той окаянной дали,
где, может быть, бывала даже ты,
березы наши – мысли изглодали
и довели почти до хрипоты.

Мой дальний чернокнижник, мой философ,
прости нас, нищих. Даже в снегопад
снежинками блистающими фосфор
не может заслонить собою ад.

1984

Ночной прибой

* * *

Как мне страшно себя самой,
шаг один – и ослепнуть можно.
Здесь никто не грустил со мной
так внимательно и осторожно.

– Не люби! – говорили мне,
ты один не сказал ни слова.
А теперь я на самом дне
моего колодца ночного.

1955

* * *

Я знала много в поле черноты,
в засаду ночи прятались кусты,
и в бездне вод, безгласна и темна,
бродила обнаженная луна.

Но спичку взять – и разрываешь тьму,
забросишь камень – плеск прильнет к нему,
и только в тусклом отрешенье глаз
огонь живой без проблеска погас.

1952

* * *

Все ластилось ласочкой в бег,
все ластилось ласточкой в лёт.
Не это ли снега пробег?
Не это ли яблони мёд?..

Заснежена улица – в ней
то зимы, то весны живут
сиянием беглых огней,
свечением лёгких минут.

Черемух моих лепестки
и тополя реющий пух, –
вы ласкою Божьей руки
вошли в заколдованный круг.

1952

Жизнь

Я рвусь к тебе с бездомностью скитальца,
а ты опять уходишь от меня,
ты снова просыпаешься сквозь пальцы
песчинками утраченного дня.

Не догоню... Неясной и большою
ты уплываешь снова в облака.
О жизнь, скажи, какой чужой тоскою
в тебе моя запуталась строка?

1953

* * *

Как мне узнать тебя, дыханье жизни?
Как звезды увидав – не растеряться
и приучить себя опять к труду?
Напрасно бесполезными руками
пытаюсь я схватить за крылья птицу
и мысль свою стихами воплотить.
Нет, я смотрю на снег и только вижу
след кружевной от тонких птичьих лапок,
след кружится, – и я кружусь за ним.

1953

* * *

О темный дух моей тоски,
дух беспощадного гоненья,
ты, в гневе рвущий на куски
мои ночные сновиденья,
чего ты хочешь от меня? –
Карета смертная готова,
зачем подводишь мне коня,
срывая белые покровы?
Копыта звонко в камень бьют,
в лицо мне хлещет ветер черный,
но где-то девушки поют
о жизни тихой и покорной.
И я, поводья опустив,
внимаю долго этой песне,
и звезд серебряный разлив
неповторимей и чудесней.

1953

* * *

Дитя из света и огня,
с румянцем полудикой розы,
зачем тревожишь ты меня,
наивной радостью дразня,
роняя сквозь улыбку слезы.

Зачем доверчиво глядишь,
ждешь одобренья и совета.
Уже срезает пену стриж,
во мне предгрозовая тишь,
и нет в ней ни на что ответа.

Ты только шутишь, – я люблю,
и ничего сказать не смея,
я улыбаюсь и терплю
твой легкий танец, Саломея.

1953

* * *

Любовь прошла, но есть светлей и чище –
та, что ведет к истокам всех начал,
в ха*о*с тоски, где только ветер свищет,
а человек единожды восстал.

Не звездный путь, не млечный свет в высотах, –
моя земля, веди меня к костру!
В кровавых снах и нищенских заботах
поставь меня, как пламя на ветру.

1953

Душа прошлого

Та, что пришла и встала у порога,
и глянула из глубины и строго,
рукою прядь седую отвела…
Откуда и зачем она пришла?
В лицо б узнать! Но в сумерках растаяв,
она мечтой невнятною измает,
и только голос чистый, но без слов
еще звучит за гранью облаков.
И не поймешь – зачем он, этот голос,
и эта ночь, и луч, и чья-то повесть,
и чей-то ослепительный рассвет,
ушедший в прошлое в коротком вздохе – «нет!».
Неужто я себя не сберегла,
в гостях вдруг побывала – и ушла,
и не признала, что вот та, чужая,
тень у двери – моя душа былая...

1953

* * *

Я умереть хочу, чтобы моя рука
в твоей руке прохладу сна искала,
чтоб я легко и тихо засыпала
под моря шум и влажный вздох песка.

Был странный час: ни день, ни ночь – свеченье,
уже сквозь звезды проступал рассвет,
час тишины, час сна и промедленья,
час перехода – отчужденья в свет.

И кончено… Песок, песок, забвенье,
пустые воды в пустоте небес,
ни ты, ни я, – и только в отдаленье
первоначальных сумерок навес.

1953

* * *

И вдруг слабеют руки, – и тогда
я ощущаю – жизнь моя уходит,
так медленно, что хватит на года,
так ясно, что от боли сердце сводит.

Такая слабость, будто я больна.
Нет силы встать, все мысли в беспорядке,
и только ты, любовь моя, вольна
пронзить меня внезапной лихорадкой.

О как же он смертелен, твой озноб, –
так бьется в небе слепнущая птица,
и в воздухе, не различая троп,
она летит, чтоб замертво свалиться.

1953

Человек

Говорят звезды

Мы уносим за пределы
в неизменность высоты
сумрак ночи и пробелы
глубины и пустоты.

С нами будешь загораться
ты полуночной порой,
а земле весь век метаться
смертью, болью и тоской.

Здесь никто страстей не знает,
здесь покой и тишина,
небо тихо освещает
равнодушная луна.

В этом свете серебристом
и холодном, как струя,
будешь ты дыханьем чистым
у истоков Бытия.

Говорит пыль

Где бы сердце не летало,
кровь земли его сожжет,
только в холоде кристалла
бесконечное живет.

Сердце связано тоскою
неисхоженных дорог,
если хочешь ты покоя –
посылай за парой дрог.

Пыль седая скорбно ляжет
под копыта лошадей,
и одна земля расскажет
повесть горести твоей.

Мы несемся, прах от праха,
мы исход твой и предел –
пыль смятения и страха,
пыль надежд и мертвых дел.

Говорит ветер

Голос вечный не стихает,
прогремев ночной грозой,
он, как звук дыханья, тает
за скатившейся слезой.

Нет, не всё владенье праха, –
слово носится вокруг,
не одним угрюмым страхом
ускоряют сердца стук.

Я не знаю муки тела,
но в движенье бытия
разжигаю пламя смело
и стихаю, как струя.

Жизни голос неумолчный,
беспрестанный вечный вздох,
я от скважины замочной
увожу в простор дорог.

Все в тревоге и движенье,
звук на звук – бессильна смерть.
За грозу, любовь, сомненье
жить и биться, жить и петь.

Говорит сердце

Сок земли, густой и темный,
разгоню по венам я,
и язык твой неуёмный –
это только боль моя.

Звезды, ветер, пыль и песни –
все, что жжет, летит, поет,
только мой рассказ чудесный,
только мой тяжелый гнет.

В горе, счастье и смятенье –
ты дитя моё во всем,
даже смертное томленье
опаляю я огнем.

Говорит любовь

Я сильней и чище силы,
силы смерти и тоски,
нет нигде моей могилы,
отступающей в пески.

Я сильней и чище сердца,
и над ним растет трава,
но в последнем вздохе смерти

я бессмертием жива.

Для меня земля родная
и в сраженьях, и в мечте –
жизни искра путевая
к необъятной красоте.

Пламя творчества слепого
превращает мой резец
в несгорающее слово,
в нерасторгнутый венец.

Говорит человек

Я чувств и слов единство, я сплетенье
упругих мышц и темного горенья,
дыхание мое разносит смерть и жизнь,
я камень, пущенный пращею вниз,
я к небесам – взнесенных молний пламя,
я разрушенье, творчество и память,
все звезды, ветер, солнце, небеса,
все травы, все земные чудеса –
моих велений и желаний сколок,
мой путь бессмертен, век в часах недолог,
меня земля сжигает в легкий прах,
а я уже живу в других чертах,
я все, что есть, – и мир мое названье,
и зеркало хранит мое дыханье,
я разрушаю горем и тоской
задуманный во мне самом покой.

1953

Сольвейг

– Я тебя встречаю песней
год за годом, день за днем,
расцветает все чудесней
путь далекий серебром.

След от лыж весной не тает –
два бегущие луча,
путь над бездной освещает
негасимая свеча.

– Сольвейг! Сольвейг! К солнцу лыжи
направляют легкий след,
звон копыт все ближе, ближе,
пропасть, волны, брызги, свет.

И олень летит над кручей,
по уступам снежных гор,
разрывая в гневе тучи,
разбивая гладь озер.

На рогах его высоких
золотой короны блеск…
Кто там?.. Кто там? – путь широкий
прегражден… Стеною лес.

– Для тебя я песню пела,
пряжу тонкую ткала.
Тише, тише, лебедь белый
расправляет два крыла.

Мы летим дорогой снежной
в твой чудесный, светлый край.
Спи, мой милый, спи, мой нежный,
на коленях засыпай!

– Разъяренный ветер воет,
сотрясает ветхий дом…
Сольвейг! Сольвейг!.. Кто там стонет?
Кто там бродит под окном?

– Не тревожься, что нам ветер!
Что нам тени, я спою,
как одна на целом свете
сберегла любовь твою.

1954

* * *

Насмешкой камушек лежит,
скользит струя, играя с солнцем.
Кто спит здесь?.. Кто здесь говорит?
Кто взял и спрятал веретенце?..

На самом дне клубится нить.
Мой родничок, о чем лепечешь?..
Кто будет звать?.. Кто будет пить?..
Кого ты в травах заприметишь?

На паутинке злого сна
или забавного – не знаю –
слетит звенящая оса,
свой хоботок в тебя вонзая.

И будет пить, и будет петь.
О ком? О чем? В избытке солнца
ей все равно, куда лететь
и где упало веретенце.

1954

* * *

В.

Плещет море у ног твоих,
набегает прибоем раздумий,
ветер волосы тронул и стих,
очарованный дремлет Сухуми.

Тонет Гагра в серебряном сне,
весь Кавказ – соловьиная песня,
опускается к синей волне
золотая волна поднебесья.

Не грусти ни о чем, опусти
в это золото тонкие руки,
и останутся в легкой горсти
тень от звезд или пена разлуки.

Чистый отзвук печали и слёз,
утопающий в синем тумане,
соловей, не поющий для роз,
а во сне пролетевший над нами.

Перевернутый кубок луны
льет густое вино над тобою,
спи, любимая, звездные сны
обступают весь мир тишиною.

1957

Дождь

Сквозь сон я слышу тихий шорох –
на цыпочках танцует дождь,
подросток в юбочке пуховой
кружится меж балконных лож.

И легок он необычайно,
и сну легчайшему под стать:
он перекрадывает тайны
и возвращает их опять.

Сон длится, точно длится танец
несчетных капель за окном,
но хочет дерзкий оборванец
проникнуть... через крышу в дом.

1958

* * *

Я так устала. Не могу молиться.
В далеком прошлом засыпаешь ты.
Все то же горе входит и садится,
и говорит устами темноты.

1958

* * *

Этого не было, не было, не было…
Вычеркну, скину с плеч!
Лучше бы жизнь у меня потребовал,
лучше на плаху лечь.

Вновь, как свинец, набегают волны,
в щепы разбиты дни.
Только одну, одну исполни –
беспамятство мне верни.

1959

Море

Не синее, где тонет взгляд,
все белое, все в дымке зноя –
пустыня счастья и покоя
свой солнечный творит обряд.

На пальцах легкий зов песка,
неощутимый и текучий,
и только в набежавшей туче
осиротевшая тоска.

Закинуть руки и в огне,
в горячем ослепленье сердца
плыть за черту любви и детства,
едва качаясь на волне.

1959

* * *

Но ты устал, и губ твоих желанных
напрасно ждет страдальческий мой рот.

Рильке

Обрушилось у самых ног
и сразу затопило берег.
Вновь ветру страсти и тревог
замученное сердце верит.

Но ты устал, и губ моих
твои в смятенье не коснутся,
и тяжко налетевший вихрь
упорно требует вернуться.

Отчаянье, как ропот волн,
глухой, протяжный, бестолковый
обрушилось на малый челн
и тщетно гложет камень голый.

Накатываясь тяжело,
оно грозит, но легкой пеной
уже от берега ушло
все с той же мукой неизменной.

1959

* * *

Забыто море, гул его,
его внезапные порывы,
и ночи стали молчаливы,
утратив молний колдовство.

Напрасно сердце, как прибой,
в груди то ропщет, то стихает,
звезда над бездною мерцает
и тщетно спорит с пустотой.

1959

* * *

Сбивая с ног, срывая крыши,
жизнь отшумела, мир умолк,
лишь иногда скребутся мыши
на чердаке о потолок.

Лишь иногда воспоминанье,
нечетким образом дразня,
в глубокий перехват дыханья
тобою мучает меня.

1961

* * *

Бывает, вдруг срываются в полет
мои глаза – и раздвигают сумрак.
Ещё по лужам стынет тонкий лед,
а снег растаял на садовых клумбах,
уже набрякла почками верб*а*,
и потянуло свежим ветром с поля,
а там дорога, как твоя судьба,
как чаек неприкаянная доля.
Они кричат, но тяжесть темных век,
тоски и горя вековая тяжесть
слепит глаза… И вновь ложится снег
на землю перепутанною пряжей.

1962

* * *

Сегодня Троица. Снопом душистых трав
восходит день, прозрачный и лучистый.
Земедлен свет. У дальних переправ
песнь жаворонка звоном серебристым
в глубокой и спокойной синеве,
струею светлой падает ко мне.
Но я молчу. Звук не рождает слова.
Я к немоте и глухоте готова.

1964

* * *

Ты солнце позднее. Скользят твои лучи.
Осенний луг не зашумит травою,
и навсегда звенящие ключи
останутся под палою листвою.

Тебя люблю я просто и светло,
давно промчались над душою штормы,
остались только нежность и тепло,
уют печальный осени покорной.

Теперь нас дружба ссорит иногда,
а после м*и*рит. Мы живем в согласье,
но страстный зов еще таят года
былого несвершившегося счастья.

Как раковины непонятный шум,
так годы те во мгле звучат и стонут,
мы их не слышим, и ответных дум
никто из нас наружу не обронит.

1964

* * *

Т. З.

Лукавая луна за облачко скользнула,
пух одуванчиков окутал небеса,
над сонною рекой кувшинка развернула
все лепестки свои, все злые чудеса.

Русалка над водой расчесывает косы.
Никак ее руки во сне не отведу.
Украдкою она разбрасывает росы
и прячет в свой подол упавшую звезду.

В прибрежную волну роняет ива пряди,
и листья, прошумев, запутались в струе.
Где леший? Где ветла? И кто здесь был украден?
Никто не разберет, но ты пришла ко мне.

1965

* * *

Т.

Если звездную пыль осыпать
на дороги моей мечты,
значит вечером тихо-тихо
в эту дверь постучишься ты.

Золотое мое сиянье,
ты как музыка входишь в дом,
без тебя – лишь тьмы бормотанье,
вздохи осени под окном.

Вечер солон тогда дождями,
и бессонница косит шаг,
и звучит, как прибой, часами
чей-то плач у меня в ушах.

1967

* * *

Звезда моя вечерняя,
в великий день поста
от ужасов, от скверны я,
от глупости – чиста.

Хоромами воздушными
заоблачная высь
спускается на душу мне,
зовет меня: – Молись! –

И я молюсь не Господу,
не этим небесам, –
молюсь весенней опади,
всем ливням и дождям,

всем ручейкам растаявшим,
всем веткам на ветру.
Перед весной покаявшись,
за нею вслед бреду.

Бреду в поля – отрада мне,
бреду в разливы рек,
и мне никто не надобен:
ни Бог, ни человек.

1972

* * *

Л.

Сияют далекие звезды,
в рожки золотые трубя,
но грустно и слишком поздно
я встретила в жизни тебя.

Как отзвук чужих дуновений,
вдоль речки идем по лугам,
и тихо спускаются тени
к прозрачным ее берегам.

А травы, сгоревшие в пепел,
шуршат у меня под ногой.
Я плачу. Печален и светел –
ты таешь вечернею мглой.

1972

* * *

Вполне возможно, жизнь
придет ко мне, сполна
узнаю краткий миг
земного назначенья,
и станет верхом низ,
и высотой – волна,
откроют сердцу лик
печаль и вдохновенье.
И это будет смерть,
неведомый покой,
там руки – крест-накр*е*ст, –
а губы – знак немой.

1973

* * *

Ю. С.

Твой голос вновь звучит невнятным шумом трав,
но травы те давно пожухли и увяли,
вот поворот Днепра, серебряный рукав,
мы, кажется, его с тобой не проплывали.

Да был ли этот сон с серебряной водой,
с глубокой тишиной загубленного лета?
О милый мальчик мой, о ненаглядный мой,
доснись же хоть теперь, на грани тьмы и света!

1975

* * *

Ю. С.

Все эти годы
не было тебя.
Зачем же в этот час,
такой печальный,
ты вдруг вернулся,
по крутому склону
взбежал, держась за ветки,
а внизу
был Днепр
и тысячи огней,
и звезды,
брызги звезд…

У наших ног,
зарывшись в травы, спал
спокойный вечер,
было очень тихо.
Звенящей нежностью
струилась тишина,
но ты меня не удержал,
любимый,
не смог заговорить,
не смог запутать,
и жизнь прошла
сквозь пальцы,
как вода.

Да, жизнь ушла

не серебром седин,
а сеткою морщин
и желтизною,
беззубой старостью
и желчью глупых лет,
в трусливом говорке,
в нелепой позе,
в потугах на любовь…
О нет, и нет, и нет, –
все это ложь,
я просто разучилась
вдруг говорить,
я просто от безверья
сошла с ума –
иначе не пришел бы
к нам этот час,
и горестный, и трудный.

Все это, милый,
только от обид,
от злых обид,
не от беды же, право,
я стала злой –
в беде была я доброй.

О, как я верила
в мою звезду,
как в слово верила,
как я ждала, что ветер
круг завершит,
и поняла сегодня –
круг завершает смерть,
а вот достойна ль я
ее принять,
                    не знаю.

1975

Все время бьют

Друзья – враги. И ты один во тьме
распластанный, раздавленный, избитый.
Но бьют еще. Так бьют в ночной тюрьме,
бьют с расстановкой, медленно и скрыто.

Бьют благодушным жестом, бьют любя,
выкручивая руки, обнимают.
Все время бьют. До смерти бьют тебя –
бьют до конца, пока не убивают.

1976

* * *

Я смерти жду как чуда из чудес:
в небытие, в беспамятство, в бесстрастье,
не в первый круг, где сумерки небес
все поглощают сумеречной властью.

Не в Дантов ад. Он был здесь на земле.
В небытие, где ни теней, ни звуков,
где ветер пишет имя на золе,
ровняя все – печаль, и зло, и скуку.

Покой без памяти, забвенье всяких бед,
измен, коварства, просто отчужденья.
Уйти – и нет. Пусть время смоет след,
сотрет его единым дуновеньем.

1976

* * *

Т.

Мы говорим, не понимая слов.
Здесь смыт союз, здесь души обмелели,
на отмели утраченных годов
наш след в песках означен еле-еле.

Стена растет, и свет твоей судьбы
не проникает в щели этих окон,
напрасны гнев и слезы, и мольбы, –
нет ничего, – один твой детский локон.

1976

* * *

Окутанные легким светом дня,
ржавея на ветру листом последним,
они грустят… Для них поет обедни
вся нищая и скорбная земля.

И гаснет день, темнеет ржавый лист
и черной тенью на снегу ложится,
уже луна меж облаков томится
и слышен ветра леденящий свист.

Все здесь мертво. Здесь мертвые слова
с подобьями своими речь заводят.
Мы все забыты – только души бродят
и умирают тихо, как листва.

1976

Муза

Молчальница, замкнувшая уста,
зачем во мне твой голос вопиющий?
Зачем гортани этой пустота?
Чего ты хочешь – худшая из худших?

Из тех, кто ходит с нищенской сумой,
в отрепьях, в горести, в невероятье быта,
ты, плакальщица, плачь же над собой,
оплакивай и хорони убитых.

Упрямица – мессия дней моих,
иди в кровавом месиве за прахом,
ты – тоже прах, калеченый твой стих
всё стонет в путах горечи и страха.

Я вольная, а без тебя – ничто,
но и с тобой я только злая память.
Как птица смерти, сядешь на плечо,
чтоб рот зажать обоими крылами.

Смерть за тобой, в тебе, в круженье зла,
в круженье сердца, в осени, в отрепьях
октябрьских листьев, что, сгорев дотла,
не помнят своего великолепья.

1977

Комариный псалом

Сон песком засыпает глаза,
голова тяжелеет. Зевота
раздирает мне рот. У виска
тонкой жилкою бьется дремота.

Засыпаю. Борьба ни к чему,
даже, может быть, сон приснится,
а в дому, а в дому, а в дому
комариный звон суетится.

Раздирающий тоненький звук
и укус, как иголкой по векам.
Знаю я – мне теперь не уснуть,
мне не спать уже больше вовеки.

Паутинка из крыльев и ног,
из разящего острого жала…
Надо мной – Комариный Бог,
его воинство и держава.

1978

* * *

Все суета. Да и был ли Суетин,
мой нецелованный, детский сон?
За руки взявшись, мы шли, как дети,
в тот колокольный и солнечный звон.

Пели нам листья и листопады,
пели днепровские волны у ног,
пели нам травы и до упаду
пел соловей, как любовник и Бог.

Много светящихся звезд упало
прямо на перышки соловья,
все не прощу себе – не целовала
уст твоих, губ твоих – глупая я.

1978

* * *

Ты был как осень, как хрустальные
прозрачные ее сады.
Вставали очертанья дальние,
за морем – море, дни печальные
струились тихо, как дожди.

Все было спето и рассказано.
Сквозь гумилевский листопад
упал, как шапочка, развязанный
наш несвершившийся обряд.

А годы шли в мученьях, в поисках,
в пустой затрате чувств и дней,
твоих раздумий злые происки
в разладах делались острей.

Но я скажу – в путях утраченных,
в тяжелых и кровавых снах
ты был молитвой нерастраченной,
молитвой, расточавшей страх.

Ты был моей последней совестью,
моим неверьем до конца,
а для себя – печальной повестью
все проглядевшего слепца.

1978

Осень

Так вот и буду снова идти я –
все напрямик,
нет, не воитель и не вития –
ты мой двойник.

Ты, заломившая руки в плаче,
осень моя,
бледное личико в золото прячешь,
в свет Октября.

Чем же тебя мне, коль смертны мы обе,
чем обольстить?
Мне золотых твоих, нежных подобий
не сохранить.

И в умирании этого света,
в праздник рябин –
я отголосок твой, грустное эхо
рыжих куртин.

1978

Бог листопада

Останови мгновенье, задержи
все эти краски и избыток света
и сочетай с вниманием поэта
распахнутого неба витражи.

С волшебною палитрою прощанья
Бог осени проходит по садам
и в трогательной ласке состраданья
янтарный свет он оставляет нам.

Бог листопада, светлый Бог похмелья,
серебряных и траурных дождей,
как дерево, душа полна доверья
к высокой обреченности твоей.

1978

* * *

Л.

Впивалась я ревнивыми глазами
в следы годов, прошедших без тебя,
и будущее было между нами
в порывах ветра плачем Октября.

Я все предугадала – дни разлуки,
отзывчивость и холодность твою,
и только нерастаявшие звуки
я жадным ртом все пью, и пью, и пью.

1978

* * *

Над яблоней плывет молочный пар –
таинственная оторопь рассвета,
неукротимый и могучий дар
влюбленного в цветы и краски лета.

А надо мною ветка хрупких снов
меняет очертанья и предметы
и намечает тонкость силуэтов
своих же нераскрытых лепестков.

Восходит утро в зное и луче.
Вдыхаю море. Замираю в страхе,
все плачу о потерянном весле,
в качелях сна, в огромности размаха,
у солнечного утра на плече.

1978

Декабрьский букет

Т.

Стоят, сойти с ума, стоят
и розовеют безмятежно.
Ты принесла из вьюги снежной
вот этих маленьких наяд.

Не увядая, не бледнея,
цветут привольно и светло,
их к нам в светелку занесло,
чтобы печаль твою рассеять.

Не ты ли вечером порой
их трогаешь рукой печально,
цветет их маленькая тайна
на тонких стеблях над водой.

1978

* * *

Л. Ц.

Немыслимо, невозвратимо,
невероятно, а сбылось.
Легла – и все куда-то мимо
в глухую бездну унеслось.

Никто не понял, не обидел,
зима струилась у окна,
и только Ангел Смерти видел,
как ночью плакала она.

1980

* * *

Б. А.

Дай напиться воды ключевой,
твой источник прозрачен и светел.
Я построю скворечник ночной,
чтоб меня здесь никто не приметил.

Звук, рожденный сиянием дня
и молчанием стынущей ночи,
ты была, ты навек для меня –
утоляющий жажду источник.

Как снежинка лежишь на руке,
я боюсь: ты растаешь и канешь.
Никогда о любви и тоске
и о муке моей не узнаешь.

Только ветер коснется волос,
только капля печального плача
вдруг нависнет дождинкою слез,
на мгновенье тебя озадачит.

1981

* * *

В. В. и О. Д.

О плач над плачем, о печаль печали...
Там дождь блуждает в серебре кладб*и*щ,
там пусто все, но там нам обещали
приют травы и небо – вместо крыш.
Опять поют – все та же панихида,
от этой чаши медленно пригубь.
Не только боль, горчайшая обида
не лебедем ли падала на грудь?
Рыдайте, руки, павшие к роялю,
снег, закружись прозрачной пеленой
над Далем нищим и над нищей далью,
Владимира с Олегом упокой.

1983

* * *

Б. А.

Ты мой источник, где по капле я
свой собираю мед, – ты озаренье чуда,
слетит пчела, – а я уже смела
пыльцу любви с бессмертья изумруда.

Цветы и листья – и меж ними луч, –
все в выплесках надежды и сомненья,
игра ли солнца иль проказы туч –
слепым дождем летят в стихотворенье.

Ты мой источник, пью тебя и пью,
прильнув губами, не приму отказа,
и вот простое, тихое *люблю*
срывается, не убоявшись сглаза.

1984

* * *

О.

Из человека в призрак оступясь,
размытая прозрачностью тумана,
не то ли вымысла пустая вязь,
не то ли тень, сошедшая с экрана.

Какой-то неуверенный мотив,
то трепетанье листьев, то дождинок,
стекающих куда-то с черных слив
или с черешен в заросли кувшинок.

Ночь кончилась, а все еще темно.
Так и блуждаю в горе до рассвета.
Кого ищу? И где мое окно?
Тот, кто ушел, – везде его приметы.

Сквозь смутный сон, где бедная душа
еще блуждает – сядет у порога
и грустно смотрит и, едва дыша,
напомнит вдруг языческого Бога...

Я прозреваю серенькую тень,
пришедшую оттуда, из молчанья,
где все напрасно и не светит день,
и никогда не вымолить свиданья.

1984

* * *

А. В.

Певчая птица моя не запела,
я до тебя на ветру постарела,
ты обернулся, как солнечный круг, –
жар обдает – выпускаю из рук.

Мечется память, прося о пощаде.
Ты далеко, как собор на Посаде.
Странник Владимирский, как ты богат,
но беззащитен отечества сад.

Стал сановит ты не в меру и ровен,
но на пути твоем Ангел Господен
встал, чтобы в руки вложить твои меч,
ярым глаголом и славить, и жечь.

Что же ты борешься с Ангелом этим,
аки Иаков в предутреннем свете?
Он победит – ты останешься хром, –
меч принимай, распластавшись орлом,
с клекотом вспомни о доле поэта –
быть убiенным, а после воспетым.

1984

Забываю

О.

Забываю, забываю милое,
память затухает, будто свет.
Как давно загубленные лилии,
я теряю аромат и цвет.

Многие черты отбытовали,
отстранились, отступили вспять.
Вероятно, мы уже устали
в настоящем будущего ждать.

Нет его, оно всегда за нами –
вечное «ничто» предрешено,
«завтра» станет бывшим за плечами,
голос – тенью, пропастью – окно.

Время не целитель, а губитель,
всё к нулю стремящийся свести...
За кого же умер ты, Спаситель,
если прошлого нельзя спасти?

1984

* * *

Т. З.

Не льется свет с лампад на землю,
лампады спят.
Я только песне ветра внемлю,
не помня дат.

Я все прощаюсь и прощаюсь
с моей землей.
Что мне еще на ней осталось? –
Ночной прибой.

И только ты, моя отрада,
одна звезда,
еще горишь во мраке ада. –
Гори всегда!

1984

* * *

До сердцебиения,
до немоты рук –
Твое восхождение,
мой изгнанный Дух,
Твое восхождение –
печаль моя.
Бог отдан в ученье, –
с ним вместе я.

На тонкой верб*е*
заночует дрозд. –
Я о Тебе
виноградная гроздь.
Я о Тебе,
как огонь в судьбе, –
рана Твоя и гвоздь.

1985

* * *

Вновь непроглядная ночь за окном,
звезды не светят, лишь окна кругом.
Видишь – зловещие дыры горят,
люди в них мечутся, плачут, не спят,
дети притихли, но бредят во сне,
чьи-то шаги в роковой тишине.
Стоны тревожат застывшую муть,
не закричать, не позвать, не уснуть.
Ты далеко, равнодушен и глух,
непознаваемый Образ и Дух.

1985

Прощение

А. Парщикову

О хлорофилле в клеточке листа,
который чем-то связан с хромосомом,
о дереве в мелодии стиха
и человеке грустном перед домом. –
Вот изначалье всех дорог земли,
ее круженье жизни в бездне мрака, –
там травы в одиночестве цвели
и к нам спустились знаком Зодиака.
А может быть, галактику кружа
вокруг себя, – мы мыслью проницаем,
как в хромосоме мается душа,
как на кресте мы к истине взываем.
За этот космос, что в моей руке
песчинкой неожиданною тает,
за слезы у акаций на щеке
нас Бог и Дьявол Разумом прощают.

1985

* * *

...Из плена вырвалась душа
в предвечный, опаленный х*а*ос, –
но там нас ждет Харона парус
и мертвый шорох камыша.

За ним космический туман,
безумье Хроноса в пространстве,
в бушующем непостоянстве
лишь всеобъемлющий обман.

1987

* * *

Я расплачу́сь за счастье до конца,
не попрошу пощады – счастье было,
и даже горе тяжестью свинца
в моей душе его не затопило.

Стихи мои, на лыжи и вперед!
Как два луча бегущие полозья.
Здесь белочка встречает Новый год,
а здесь копытца, не тропа ли козья?

Вперед, стихи!.. Серебряный простор
околдовала лунная соната,
мы повстречались с ночью взор во взор,
все воедино – счастье и расплата.

1960

Примечания

Документальной основой настоящего издания являются материалы личного архивного фонда Ирины Васильевны Шашковой-Знаменской (ф. 49) в отделе редких изданий и рукописей Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко. Тексты стихотворений Ирины Шашковой публикуются по автографам в четырех тетрадях, составленных ею в конце 1970-х – 1987 гг. (т. н. общие тетради промышленного изготовления, автографы шариковой ручкой). Эти тетради I - IV* являются авторским сводом избранных стихотворений, представляющих все периоды творчества поэта. Тексты стихотворений здесь расположены в последовательности лет их написания – годовыми комплексами, но лишь некоторые стихотворения датированы с указанием месяца; в некоторых случаях подобное уточнение в датировке возможно по содержанию стихотворений.

В ф. 49 находятся также 7 тетрадей с автографами стихотворений И. Шашковой 1930-х – 1960-х гг. (тетради заполнялись в 1950-х – 1960-х гг., автографы чернилами и карандашом) и машинописный сборник ее «Стихотворений» 1952 г. (246 л.), составленный друзьями поэта. Особенности этих ранних источников рассмотрены нами в биографическом очерке (см. в настоящем издании).

Следует отметить, что подготовка поэтического наследия И. Шашковой к печати была связана с определенными трудностями текстологического характера: далеко не все тексты в сводных тетрадях I - IV можно рассматривать как беловые автографы; в последние годы жизни Ирина Васильевна продолжала работу над многими из них: вычеркивала строфы, на поля и между строчками заносила новые их варианты, не всегда зачеркивая предыдущие, и, как можно предположить, не сделала окончательного выбора между ними. В этих отдельных случаях выбор сделан составителем настоящего издания, другие варианты не указываются. Отточиями обозначены места, где черновые строки зачеркнуты автором и не заменены другими.

При жизни И. Шашковой стихотворения ее не публиковались. Первая посмертная публикация – «Акыны с Солнцем ум его сравнили…» – фрагмент стихотворения «Суд» (1952), опубликованный нами в газете «Вечерний Харьков» (1997. – 2 окт.); пять стихотворений помещены

---

* Порядковые номера присвоены автором. Сохранилась также V-я тетрадь, включающая художественную прозу И. Шашковой – сборник «Осины сказки» (1970-е – начало 1980-х гг.).

в изд.: Антология современной русской поэзии Украины / Ред.-сост. М. М. Красиков. – Х.: Крок, 1998. – Т. 1. – С. 214 – 216, перепеч. в русскоязычной прессе США (Рус. базар. – 1999. – 5-11 марта; Новое рус. слово. – 1999. – 27-28 марта); одиннадцать стихотворений – в сборнике «Слово о друге. Памяти харьковского библиотекаря В. Г. Трамбицкой / Сост. И. А. Гольдфельд, Т. С. Раскина. Харьков: Б. и., 2001. – С. 56 – 69.

С. 4. *Счастье! Но что же такое счастье?* и. т. д. Из поэмы И. Шашковой «Лейтенант Шмидт» (1955), XXII-я глава.

С. 7. *Стикс* («Ненавистная») – в древнегреческой мифологии река в царстве мертвых и одноименное божество этой реки. По требованию Зевса боги, ссорящиеся друг с другом, клянутся водой реки Стикс, и нарушившего эту священную клятву ожидает суровое наказание.

С. 17. *Ифигения* – в древнегреческой мифологии дочь Агамемнона, предводителя ахеян во время Троянской войны, и Клитемнестры. Предназначалась для принесения в жертву богине Артемиде, но была похищена с алтаря самой богиней и перенесена в далекую Тавриду. *Орест* – брат Ифигении.

С. 24. *Багрицкий* (настоящая фамилия Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895 – 1934), русский поэт.
Тихонов Николай Семенович (1896 – 1979), русский поэт.

С. 35. *Не знаю, кто кого любил.* Из стихотворения Ильи Эренбурга «Я смутно жил и неуверенно…», в первой редакции (впервые: Нов. мир. – 1945. – № 9. – С. 29). В этой редакции стихотворение было включено автором в 4-й том «Сочинений» (М.: Гослитиздат, 1953).

С. 61. *Они летят, они еще в дороге*. Первая строка стихотворения Анны Ахматовой 1916 года.

С. 66. *Рихтеру* Святославу Теофиловичу (1915 – 1997), русскому пианисту.

С. 67. *Прокофьев* Сергей Сергеевич (1891 – 1953), русский композитор, пианист и дирижер.

С. 69. *Мор* Томас (1478 – 1535), английский гуманист, государственный деятель и писатель. Автор «Утопии» (1516), содержащей описание идеального общественного строя.

С. 75. *Покоя нет, – и он не снится нам.* Ср. со строкой Александра Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится…» («На поле

Куликовом», 1, 1908), цит. по: Блок А. Собр. соч. – М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1960. – Т. 3. – С. 249.

С. 80. *Народ, гонимый отовсюду прочь* и т. д. Об антисемитской кампании в СССР, организованной властями в конце 1940-х – начале 1950-х гг., см.: Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. – М.: Международ. отношения, 2001. – С. 333 – 694. Этой теме И. Шашкова посвятила несколько стихотворений, а также XXI-ю главу поэмы «Лейтенант Шмидт» (1955).

С. 83. *«Панихида»*. Стихотворение написано И. Шашковой в связи со смертью матери – Елизаветы Петровны Шашковой (†30 апреля 1950 г.) и посвящено трагической судьбе родителей.

…*«смертью смерть попрал»*. Из пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

С. 108. …*велеречивая змея* и т. д.; ещё на с. 111: *Иезуит и меньшевик из бывших*… Имеется в виду Андрей Януарьевич Вышинский (1883 – 1954), советский партийный и государственный деятель, юрист и дипломат, государственный обвинитель на фальсифицированных политических процессах 1930-х гг. Член РКП(б) с 1920 г.; ранее – меньшевик (с 1903 г.). См. о нем: Инквизитор. Сталинский прокурор Вышинский / Сост. О. Е. Кутафина. – М.: Республика, 1992.

С. 109. …*Жозеф Фуше или Василий Шуйский*… Государственный обвинитель А. Я. Вышинский сравнивал проходивших по «делу антисоветского правотроцкистского блока» с беспринципным карьеристом Жозефом Фуше, ссылаясь на его романизированную биографию (1929), написанную австрийским писателем Стефаном Цвейгом. А главного обвиняемого – Н. И. Бухарина (у И. Шашковой – N. B.[1]) сталинский инквизитор сравнил также с Василием Ивановичем Шуйским, каким он изображен А. Н. Островским в драматической хронике «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866), – коварным лицемером, святошей, преступником: «Так и Бухарин – вредительство, диверсии, шпионаж, убийства организует, а вид у него смиренный, тихий, почти святой, и будто слышатся смиренные слова Василия Ивановича Шуйского: «Святое дело, братцы!» из уст Николая Ивановича» (Судеб-

[1] См. в настоящем изд.: «Раскрытые криптонимы и псевдонимы».

ный отчет по делу антисоветского правотроцкистского блока, рассмотренному Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 2 – 13 марта 1938 г. – М.: Юрид. изд-во Нар. Комиссариата юстиции СССР, 1938. – С. 577 – 578).

С. 110. *…еще царями запрещенный вход* в московский Кремль.

С. 118. *Ты поднял голос, пламенный протест* и т. д. Исторический факт: 2 марта 1938 г. Николай Николаевич Крестинский (советский партийный и государственный деятель; 1883 – 1938) отказался от показаний, которые были им даны на предварительном следствии. Этот факт отражен даже в официальном издании того времени – «Судебном отчете по делу антисоветского правотроцкистского блока…» (М., 1938. – С. 37 – 38, 52 – 54). После соответствующей «обработки» в ежовском застенке, на следующий день он подтвердил прежние свои показания (там же. – С. 146). Н. Н. Крестинский был необоснованно репрессирован.

Я большевик <...> Я отрицаю все. Ср.: «Крестинский. Я не признаю себя виновным <…>. Я никогда не был участником «правотроцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершал также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне… <…>. Я до ареста был членом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и сейчас остаюсь я таковым» (там же. – С. 37 – 38).

С. 120. *Отравитель детей, палач!* О готовившемся в январе-феврале 1953 г. процессе над «убийцами в белых халатах» см.: Мирский М. Б. Процессы «врачей-убийц». 1929 – 1953 годы // Вопр. ист. – 2005. – № 4. – С. 83 – 92. См. также другие произведения И. Шашковой – стихотворение «Белый пух взлетает и кружится…», «Одна и та же ложь. Из бездны черной ночи…», «Освобождение врачей» (все – 1953).

С. 121. *Пикассо* (от фамилии матери – Пикассо Лопес; по отцу – Руис) Пабло (1881 – 1973), французский живописец, испанец по происхождению. В стихотворении И. Шашковой упомянут в связи с его всемирно известным рисунком «Голубь мира» (1947).

С. 124. *Но сейчас идет другая драма.* Из стихотворения Бориса Пастернака «Гамлет» («Стихотворения Юрия Живаго», 1, 1946), текст которого был известен И. Шашковой задолго до его первой публикации (в 1968 г.). См. также другие стихотворения И. Шашковой, посвященные Борису Пастернаку (с. 148, 151), и примеч. к ним.

С. 133. *Награда (выдана была Вышинскому)*. По случаю 70-летия (исполнилось 10 декабря 1953 г.) первый заместитель министра иностранных дел СССР и постоянный представитель СССР при ООН А. Я. Вышинский (см. примеч. к с. 108) был награжден шестым орденом Ленина; соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 9 декабря, в день рождения юбиляра был опубликован в «Правде».

С. 136. *Годовщина. 5 марта 1954*. Исполнился год со дня смерти И. В. Сталина.

С. 140. *Нету больше сакли в Крыму; <...> И прозрачный молчит фонтан* и т. д. Возможно, реминисценции стихотворения Максимилиана Волошина «Дом Поэта» (1926), ср.: «Осиротелые зияют сакли; <...> В фонтанах нет воды» (Волошин М. Стихотворения и поэмы. – СПб.: Петербург. писатель, 1995. – С. 358).

С. 145. *…что-то слишком петляет строка <…> эта подпись* и т. д. Речь идет о письме «протеста» советских писателей против «кровавого разгула контрреволюции в Венгрии», которое было напечатано под заголовком «Видеть всю правду! Открытое письмо французским писателям, опубликовавшим во «Франс Обсерватэр» заявление «Против советского вмешательства»» (Лит. газ. – 1956. – № 139, 22 нояб.). Под текстом письма – 35 имен подписавшихся, но имя И. Г. Эренбурга появилось только в следующем номере газеты, среди 30 имен писателей, «разделяющих» позицию и чувства предыдущих (Лит. газ. – 1956. – № 140, 24 нояб.). В числе других неортодоксально мыслящих советских литераторов, чьи имена стоят под этим «протестом», – В. А. Каверин и К. Г. Паустовский.

С. 147. *Оставлена вакансия поэта: / Она опасна, если не пуста*. Из стихотворения Бориса Пастернака «Борису Пильняку» (1931).

С. 148. *Авва Отче! / Не пронеси! Даруй и мне!.*. Ср.: Мк, 14, 36; стихотворение Бориса Пастернака «Гамлет» («Стихотворения Юрия Живаго», 1946). См. также другие стихотворения И. Шашковой, посвященные Борису Пастернаку (с. 124, 151), и примеч. к ним.

С. 151. *Умер Пан…* Пан в греческой мифологии – бог лесов и полей, бог «всего» (греч. παν – все). Возможно, реминисценция стихотворения Николая Гумилева «Стансы» («Над этим островом какие выси…», ок. 1915). Высказывание «Умер Великий Пан»

– из предания, сообщенного Плутархом, где смерть могущественного бога символизирует гибель античного мира. Стихотворение И. Шашковой – один из ее поэтических откликов на смерть Бориса Пастернака.

Не стало больше песен и т. д. Реминисценции стихотворения Анны Ахматовой «Теперь никто не станет слушать песен…» (1917).

Жизнь, как поле, в полночь отшумела. Реминисценция стихотворения Бориса Пастернака «Гамлет» («Стихотворения Юрия Живаго», 1946). См. также другие стихотворения И. Шашковой, посвященные Борису Пастернаку (с. 124, 148), и примеч. к ним.

С. 152. *Обнаженных струн коснулось сердце* и т. д. Стихотворение посвящено Святославу Рихтеру (см. примеч. к с. 66), 1 – 2 июня 1960 г., в дни прощания с Борисом Пастернаком игравшему на даче покойного поэта в подмосковном поселке Переделкино. По свидетельствам мемуаристов, С. Т. Рихтер исполнил произведения Баха, Бетховена и др. композиторов; см.: Воспоминания о Борисе Пастернаке / Сост., подгот. текста и коммент. Е. В. Пастернак, М. И. Фейнберг. – М.: СЛОВО / SLOVO, 1993. – С. 230, 405, 440, 509, 606.

С. 153. *…смертью смерть попрал…* См. примеч. к с. 83.

С. 155. *...как начал Солженицын.* Имеется в виду опубликованная в 11-м номере «Нового мира» за 1962 год повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 30 декабря 1962 г. А. И. Солженицын был принят в Союз писателей СССР.

С. 159. ...*это было с Анной* и т. д. Стихотворение об Анне Ахматовой. *Одетта* – персонаж балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (1876).

С. 160. *Алиме, Зейнеп,* или Зейнебе – крымско-татарские женские имена; см.: Справочник личных имен народов РСФСР. – 4-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. – С. 193. *Сейт-абрам* (правильно: Сейт-ибраим), *Сейт-мемет, Сейт-умер* – крымско-татарские мужские имена (там же. – С. 190, 191).

С. 164. *«Планета, как Ленин, / мудра и лобаста»*. Из поэмы Андрея Вознесенского «Лонжюмо» (1963).

Торквемада Томас (ок. 1420 – 1498), глава испанской инквизиции, прозванный современниками «несравненным палачом». Организатор массовых казней еретиков, инициатор изгнания евреев из Испании.

Малюта Скуратов – Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович, Малюта (? – 1573), приближенный царя Ивана IV Грозного, глава опричного террора; организатор многих убийств и массовых казней.

С. 170. *…волшебник чернокнижный <…> Мой дальний чернокнижник, мой философ.* Имеется в виду русский поэт Иосиф Александрович Бродский (1940 – 1996), который в 1972 г. был вынужден покинуть родину. Стихотворение посвящено ему и Белле Ахмадулиной (И. Б. и Б. А.[1]). Реминисценция стихотворения Марины Цветаевой «Ахматовой» (1921), где адресат назван «чернокнижницей» (Цветаева М. Стихотворения и поэмы. – [Л.]: Сов. писатель. Ленинград. отд-ние, 1990. – С. 246 – 247). Упрек И. Шашковой, адресованный Белле Ахмадулиной: *«Все плачешь ты о мертвых. <…> / Ему воздай…»* и т. д., – едва ли справедлив: стихи с упоминанием имени И. Бродского, конечно, не были бы пропущены советской цензурой. Об отношении Беллы Ахмадулиной к Иосифу Бродскому – поэту и человеку – см. в ее интервью 1987 г. (Полухина В. Бродский глазами современников. – СПб.: «Журнал «Звезда»», 1997. – С. 76 – 83).

С. 179. *…твой легкий танец, Саломея* – дочь Иродиады, внучки царя Иудеи Ирода Великого, находившейся в незаконном сожительстве со своим родным дядей – Иродом Антипой, правителем одной из частей Иудейского царства. Это прелюбодеяние обличал Иоанн Креститель. На празднике в честь дня рождения правителя (в Евангелии он назван «царем») Саломея по наущению матери попросила в награду за исполненный ею танец голову Иоанна Крестителя и получила ее (Мк 6, 17 – 28). Имя «дочери Иродиады» (так она названа в Евангелии) приводит Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (кн. 18, глава 5, § 4).

С. 188. *Сольвейг* (буквальный пер. с норв.: «Солнечный Путь») – персонаж драматической поэмы норвежского писателя Генрика Ибсена «Пер Гюнт» (1867). См. также стихотворения Александра Блока 1906 г. «Сольвейг» («Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне…») и «Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!...».

---

1 См. в настоящем изд.: «Раскрытые криптонимы и псевдонимы».

С. 196. *Но ты устал, и губ твоих желанных / напрасно ждет страдальческий мой рот.* Из стихотворения Р. М. Рильке «Пиета» (1906), пер. А. Биска, опубл.: Рильке Р. М. Собрание стихов в пер. А. Биска. – [Одесса]: Омфалос, 1919. – С. 78.

С. 216. *Суетин* Юрий, ровесник и друг юности И. Шашковой; в посвящениях ее стихотворений – «Ю. С.».

С. 228. *…борешься с Ангелом этим, / аки Иаков в предутреннем свете?* Иаков, или Израиль – ветхозаветный патриарх, родоначальник «двенадцати колен Израиля». Бог испытывал своего избранника Иакова, борясь с ним «до появления зари» (Быт 32, 24). В искусстве эта борьба традиционно изображается как поединок Иакова с Ангелом.

С. 233. *Парщикову* Алексею Максимовичу (р. 1954), современному русскому поэту.

С. 235. *Стихи мои, на лыжи и вперед!* См. стихотворение И. Шашковой «Сольвейг» (1954) и примеч. к нему.

Раскрытые криптонимы и псевдонимы[1]

А. А. Ахматова (настоящая фамилия – Горенко) Анна Андреевна (1889 – 1966), русский поэт.

А. В. Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1933), современный русский поэт.

А. И. Б. Белецкий Александр Иванович (1884 – 1961), украинский литературовед. Академик АН Украинской ССР и АН СССР.

Б. А. Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахатовна, современный русский поэт.

В. В. Высоцкий Владимир Семенович (1938 – 1980), русский поэт, автор и исполнитель песен, актер.

В. З. Знаменский Всеволод Владимирович (1919 – 1990), муж И. Шашковой в 1940 – 1946 гг.

В. Т. Трамбицкая Вера Григорьевна (1909 – 1981), украинский библиотековед, историк библиотечного дела, библиограф. Друг И. Шашковой и ее коллега по работе в ХГНБ им. В. Г. Короленко. Узник сталинского ГУЛАГа (1950 – 1954 гг.).

В. Ш. Шашков Василий Порфирьевич (1889 – 1938), отец И. Шашковой.

Е. Ш. Шашкова Елизавета Петровна, урожденная Чичарова (1889 – 1950), мать И. Шашковой. Есть также посвящение «Е. и В. Ш.», т. е. «Елизавете и Василию Шашковым», см. криптоним «В. Ш.».

И. Б. Бродский Иосиф Александрович (1940 – 1996), русский поэт.

И. С......,
И. С....ну Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878 – 1953), российский политический деятель, советский партийный и государственный деятель.

И. Э. Эренбург Илья Григорьевич (1891 – 1967), русский поэт, прозаик, публицист, журналист.

[1] В заголовках , посвящениях, эпиграфах и текстах стихотворений И. Шашковой.

См. также криптоним «P. J.», т. е. «Полю Жослену». Об истории этого псевдонима см.: Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания / Изд. испр., доп. – М.: Сов. писатель, 1990. – Т. 2. – С. 185 – 188, 196, 198, 417.

Л. «Ленинградец» – Волковыский Юрий Ромуальдович (1908 – 1975), инженер-механик. Кандидат технических наук. Учился в Харьковской консерватории. Друг И. Шашковой. Жил в Ленинграде.

Л. Ц. Цыкина Людмила Ивановна (1942 – 1980), украинский библиограф, книговед; по образованию – историк. Сотрудник отдела старопечатных и редких книг ХГНБ им. В. Г. Короленко в 1974 – 1980 гг. Подруга Т. В. Знаменской (см. криптонимы «Т.», «Т. З»). Последние годы жила вместе с М. О. Габель (см. криптоним «М. Г.»).

М. Г. Габель Маргарита Орестовна (1893 – 1981), украинский литературовед-русист, библиограф, книговед. Кандидат филологических наук. В 1940-е гг. заведовала отделом старопечатных и редких книг ХГНБ им. В. Г. Короленко. Близкий друг И. Шашковой.

О. Ося, любимый домашний кот И. Шашковой.

О. Д. Даль Олег Иванович (1941 – 1981), русский актер, поэт.

П. Пастернак Борис Леонидович (1890 – 1960), русский поэт, переводчик, прозаик, эссеист.

Т., Т. З. Знаменская Татьяна Всеволодовна, дочь И. Шашковой.

Т. Ш. Шерстюк Татьяна Григорьевна (1921 – 2003), украинский библиограф, краевед. Друг И. Шашковой и коллега по работе в ХГНБ им. В. Г. Короленко. Автор воспоминаний о ней.

Ю. С. Суетин Юрий, ровесник и друг юности И. Шашковой. Позднее жил в Киеве.

N. B., Nota Bene Бухарин Николай Иванович (1888 – 1938), российский политический деятель, советский партийный и государственный деятель; экономист, социолог, публицист, журналист. Проходил по сфабрикованному И. В. Сталиным и его подручными «делу антисоветского правотроцкистского

блока». 15 марта 1938 г. по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитирован 4 февраля 1988 г. Пленумом Верховного суда СССР.

«Nota bene» (вариант: «Nota-bene») – один из литературных псевдонимов Н. И. Бухарина, под которым он выступал в немецкой социал-демократической печати 1910-х гг. Библиографические сведения о таких публикациях см., напр.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. – 5-е изд. – М.: Гос. изд-во полит. лит., 1962. – Т. 30. – С. 471; Т. 33. – С. 395.

P. J. См. криптоним «И. Э.».

Алфавитный указатель стихотворений

Потаенные тетради Ирины Шашковой

«Молчальница, замкнувшая уста», «плакальщица», «птица смерти», – так говорила она о своей музе. «Плачь же над собой, / оплакивай и хорони убитых» («Муза», 1977). Чудом уцелевшая физически в сталинское лихолетье, Ирина Шашкова обладала удивительной силой духа, редчайшей способностью – не быть «у времени в плену», – почти сверхъестественной по тем временам. Своё сердце она воспитала настоящей любовью – к живым и мертвым, «врагам народа» и героям великой войны.

Её чистая, свободолюбивая душа жила стихами, своими и чужими – родными по духу, нередко становящимися поводом для написания своих. Шашкова мыслила стихами, чувствовала ими – радовалась, печалилась, любила. Спору нет, в этой поэзии особенно слышны скорбные мотивы, но не только горечью и скорбью – праведным гневом исполнены её стихи: здесь обличается обыкновенное человеческое зло, достигшее в XX веке поистине нечеловеческих, сатанинских масштабов. Мрак безнадежности, отчаяние – это тоже есть в шашковских стихах, но ещё больше в них любви. «...свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1,5). Этот евангельский образ не однажды возникает на страницах её потаённых тетрадей.

Несмотря ни на что, Ирина Шашкова была счастливым человеком: её жизнь состоялась, она смогла выстоять и сказать правду о своем времени – от своего имени и за всех, мёртвых и живых, кто не решился на это и кому не дали это сделать. В шашковской «запретной речи» осуществилась высшая миссия поэта. Такое у неё счастье «за всех», в нем отблески новозаветного «за всех нас» (Рим. 8, 32; 2 Кор 5, 14 – 15; Евр 2, 9), но слышен и отголосок чеканных строк поэта XX века:

У лет на мосту
на презренье,
на сме́х,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачу́сь,
за всех распла́чусь[1].

1 Маяковский В. Полн. собр. соч. – М.: Гослитиздат, 1940. – Т. 6. – С. 117 – 118.

* * *

Ирина Васильевна Шашкова родилась в Харькове 1 октября 1918 года, в интеллигентной семье. Два её прапрадеда были профессорами. Один – петербуржец, дворянин и довольно состоятельный человек; в семье берегли память о нем как о «строителе» первой железной дороги в России – Царскосельской, соединившей в 1837 году Петербург и Павловск. Другой прапрадед, из разночинцев, преподавал в Казанском университете, а его сын получил высшее техническое образование в Петербурге. Поколения прадедов и дедов Шашковой также были связаны со строительством железных дорог. Её бабушка Варвара Ивановна в юности всегда была при отце, и с будущим мужем – Петром Андреевичем Чичаровым, сыном крепостного, тоже работавшим на строительстве железных дорог, она здесь и познакомилась. В молодой семье появились дети – старшая Лиза и младшая Аня, Павлик. Жили в тайге, на стройке под Иркутском, позднее семья перебралась в город.

Одно время на квартире в Иркутске у Чичаровых жила политкаторжанка – внучка Пушкина*. В начале XX века семья приютила двух еврейских мальчиков и прятала их во время погрома. Младшего – Самуила – подготовили в гимназию Лиза и Павел.

Эти сведения мы почерпнули из воспоминаний, которые Ирина Шашкова начала писать в конце жизни и успела рассказать только о предках, дедах, о некоторых родственниках, друзьях и знакомых, в том числе о тех, кто оказался на Соловках и Колыме, и совсем немного – о родителях и о своем детстве. В самое тревожное для страны время – в разгар мировой войны, в канун революции – Елизавета Петровна Чичарова соединила свою судьбу с Василием Порфирьевичем Шашковым. Оба они были выпускниками Харьковского университета, он – 1913-го, она – 1914 года. Василий Порфирьевич, юрист по образованию, с 1913 года работал в Правлении (позднее – Управлении) Южных железных дорог, с 1925-го – начальником отдела статистики. С 1920 г. он сочетал эту работу с преподавательской, читая курс статистики в Харьковском железнодорожном техникуме, позднее преобразованном в Институт инженеров транспорта. Василий Порфирьевич владел несколькими иностранными языками и был литературно одаренным человеком: писал стихи и сказки. Елизавета Петровна, окончившая медицинский факуль-

---

* Так гласит семейное предание. В книге В. М. Русакова «Рассказы о потомках А. С. Пушкина» (Л., 1992) нет сведений о внучке поэта – политкаторжанке и ссыльной. Возможно, это была внучка одного из родственников А. С. Пушкина.

тет, многие годы работала в поликлинической сети города, заведовала отделением неврологии 6-й Харьковской поликлиники.

Свою семью Ирина Шашкова назвала в мемуарных записях «самой обычной из семей», дружной и трудолюбивой. Свидетельствуют об этом и её стихи: «Помнишь, как было тихо и ладно / у нас за столом всегда?» («Лейтенант Шмидт», VII, 1955). Это была замечательная семья, где царили мир и взаимопонимание, доброта и отзывчивость. Шашковы всегда помогали людям, не только родственникам – всем, кто нуждался в помощи. Ирина воспитывалась вместе с двоюродным братом Юрой Табурно, который всегда был для неё как родной брат. Детей здесь любили и воспитывали, играя с ними. Девочка с увлечением участвовала в домашних постановках; чаще всего инсценировались народные сказки, басни Крылова.

Она родилась в советскую эпоху, но прежний уклад жизни еще не был целиком разрушен. С Ириной занимались домашние учителя, была у неё и гувернантка – «тетя Зина, дочь адмирала, открывавшая когда-то бал с Николаем II», а теперь «бездомная кроткая старушка, замкнутая в себе», учившая непоседливую девочку «реверансам и молитвам на французском языке». Увы, эта наука не очень-то пригодилась ей в мире новом... «Бедная тетя Зина, я так ничему и не научилась и только теперь поняла, какая это была трагическая фигура...», – писала И. Шашкова. Запомнились ей и другие трагические фигуры: «Была учительница музыки, муж её был видным инженером и, слава Богу, умер своей смертью... Был Линтварев, друг Чехова, старик, который зимой и летом тоже перебивался уроками музыки». Конечно, это – пианист Георгий Михайлович Линтварев. В конце 1880-х гг., благодаря Чехову и Плещееву, другим почитателям его таланта, на молодого пианиста-виртуоза обратили внимание Чайковский и Рубинштейн. К сожалению, его музыкальная карьера не удалась, и память о «Жорже, великолепно играющем на рояле», сохранилась только в чеховских письмах (цитата – из письма Н. А. Лейкину 11 мая 1888 года, посланного из усадьбы Линтваревых близ Сум). Отметим и другой чеховский отзыв о Г. М. Линтвареве: «...несомненно, любит музыку, несомненно, талантлив и хороший, добрый человек» (из письма А. Н. Плещееву 3 сентября 1889 года).

Любовь к музыке Линтварев прививал своим ученикам, и Ирина Шашкова пронесла её через всю жизнь, написав десятки лирических стихотворений, которые обязаны своим рождением музыке, музыкальным впечатлениям автора. Любимыми её композиторами были Моцарт, Бетховен, Шопен, Мусоргский, Прокофьев, Шнитке.

Главными же её учителями – «учителями жизни» – были родители. Шашкова вспоминает: «...отца я любила до самозабвения <...>. Когда я думаю о моей бесконечно кроткой и нежной матери, о её доброте и отзывчивости, мне не хватает слов, чтоб всё это выразить. Отец был замкнутым человеком. Но в обществе он был шутником и балагуром. Как в нём сочетались эти два качества – трудно понять. Оба они были тружениками и оба бесконечно любили и баловали меня».

Самые светлые её воспоминания – о детстве, когда Шашковы ещё жили под Харьковом, в Южном поселке. Она называет своё детство «лучезарным»: здесь, за городом, ей впервые открылся удивительный мир природы, а родители, как могли, охраняли её «от всех тревог» тогдашней жизни.

Библиотека в доме была большая, и Ирина уже в детстве много читала – русских, украинских и зарубежных классиков (французских и немецких – в оригинале); книги тоже стали её учителями.

Будучи дочерью советских служащих, она, конечно, пошла и в советскую школу (тогда семья уже жила в Харькове). Родители не растили её «волчонком» по отношению к установившемуся в стране режиму, считая, что жизнь сама подскажет, со временем Ирочка во всем разберется сама. Комсомолкой она не стала. Первой «подсказкой» было «дело» академика С. А. Ефремова и судебный процесс над членами Союза освобождения Украины – первый большой процесс над украинскими интеллектуалами, состоявшийся в 1930 году. По её воспоминаниям, она, тогда совсем ещё девочка, жалела подсудимых, испытывая не вполне осознанное чувство – «романтическую горечь».

Второй «подсказкой» для Ирины также были события конца 20-х – начала 30-х годов – «коллективизация, или лучше сказать раскулачивание, или ещё лучше и точнее – уничтожение крестьянства. Не в статьях, не в книгах, не по рассказам, а тут, прямо на улицах разыгрывалась страшная трагедия голода и победного шествия вшей. <...> сколько их было – умирающих прямо на улицах, в два ряда сидящих на тротуарах – стариков, женщин, детей, тех, кто уже тупо ожидал смерти. <...> Потом рассказы медсестры К. Ж., которую посылали в деревню. <...> К., заливаясь слезами, рассказывала, что деревни были пусты, что только в некоторых домах находила она и её спутники умирающих стариков и детей. <...> Казалось, что вся Россия вымирает. Но это оказалось... «головокружением от успехов»... И громовое «ура» раздавалось на весь мир».

Жестокость и лицемерие «народной» власти, лживость и откровенная наглость «вождя», чью статью о «головокружении» взрослые и школьники обязаны были изучать и конспектировать, а главные

тезисы заучивать наизусть, – Ирина очень рано во всем этом разобралась. Среди «раскулаченных» были и её родственники по отцовской линии – замечательная тетя Надя и вся её семья, дядя Николай – старший брат отца, сосланный на Соловки. Вот когда имя *Сталин* впервые «вызвало в 12-летней девочке протест, негодование и даже враждебность», – это тоже цитата из её поздних воспоминаний.

Была и третья «подсказка» – свидетельство очевидца о Соловках, о советских каторжниках, их тяжелейшем труде, полной изоляции от мира, полнейшем бесправии. Тогда, в 1934-м, она уже училась в восьмом классе, а очевидцем был гостивший у них высокий красивый старик, знакомый родителей, чудом вырвавшийся оттуда. «Он говорил, и всё в моей детской душе переворачивалось. Как будто вернулись улицы со всеми голодными и умирающими, и тогда я впервые решила завести дневник и записать всё услышанное мною».

Ей, с детства сочинявшей стихи, суждено было стать одним из тех немногих русских поэтов XX века, кто отважился, живя в СССР, быть правдивым летописцем, обвинителем новейших тиранов, захвативших эту страну.

Отец поддержал первые её поэтические опыты, одобрил и её выбор – русское отделение литературно-лингвистического факультета Харьковского университета, куда она поступила в 1936 году, на год раньше Михаила Кульчицкого.

Наиболее ранние стихи Ирины Шашковой, дошедшие до нас, относятся к 1930-м гг. Это – по преимуществу любовная лирика. Зарождающееся чувство, одновременно доверчивое и пугливое, как олененок, здесь не всегда выражается открыто, «защищено» народно-песенной стилизацией – в стихах, словно написанных «под тальяночку». Лирическая героиня её стихотворений 1933 – 1934 гг. – девушка Северянка, почти девочка, мечтающая о будущем. Это – возраст смятения чувств, первой любви. А в стихах середины 30-х – и первые разочарования: когда влюбленные ссорятся, «плачут звезды, / плачет ветер в объятьях зимы, / плачет воздух» («Препирательство», 1936). Биографическая параллель – история взаимоотношений Ирины и человека, который в 1940 году станет её мужем, – Всеволода Владимировича Знаменского, одноклассника, в будущем – врача-психиатра. Брак оказался непрочным и через несколько лет распался*. Этот горький жизненный опыт уже от-

* Взяв фамилию мужа, Ирина Васильевна до конца своих дней оставалась по советскому паспорту Знаменской, но, верная памяти родителей, она подписывала свои стихи, письма и принадлежавшие ей книги своей девичьей фамилией. «Ирина Шашкова» – её литературное имя, такова воля поэта.

ражен в шашковских стихах середины и второй половины 1930-х гг., где впервые возникает тема «сложной» любви, её приобретений и утрат.

Ну и что же – не будет счастья:
кто-то плакал сегодня ночью,
кто-то больше не может видеть
золотых на земле огней.

(Из стихов 1937 г.)

Шашкова ориентируется на классическую – пушкинскую традицию, чьей гениальной хранительницей и продолжательницей в русской поэзии XX века стала Анна Ахматова. Не случайны многочисленные ахматовские реминисценции уже в ранних, явно подражательных стихах Шашковой: «Так и станешь пленником нежным, / тихим, тихим, почти моим» («Я пришла к тебе той, другою...», 1934), «...и уйдешь ты со мною в мятежные, / в непокорные ночи мои» («Пусть невеста цветы белоснежные..», 1938) и др.

В стихах 1930-х годов отчасти уже проявились и такие характерные черты её поздней любовной лирики, как ассоциативность, импрессионистичность, «музыкальность», что, конечно, связано с влиянием поэтики Пастернака, – он был среди её самых любимых поэтов-современников.

Помимо русских стихов Шашкова писала также стихотворения на украинском языке, но их сохранилось совсем немного, как и её переводов с французского (например, из П. Элюара).

* * *

Вся последующая жизнь Ирины Шашковой прошла под черным знаком беды, пришедшей тогда во многие дома. Отца ее арестовали 7 сентября 1937 года, мать – как «члена семьи врага народа» – забрали в 1938-м, 19 июня. До последних дней перед арестом отец продолжал работать в Управлении ЮЖД (несмотря на то, что его понизили в должности) и на планово-экономической кафедре Харьковского института инженеров транспорта, избравшей его доцентом. Приговор – десять лет без права переписки, что означало расстрел. Мать, заведовавшая психоневрологическим отделением 4-го Харьковского единого диспансера, последние месяцы перед арестом работала уже не на руководящей должности, врачом. Елизавета Петровна умерла в 1950 году, после

возвращения из ссылки. Василий Порфирьевич Шашков был реабилитирован посмертно 17 сентября 1957 года.

О происходящем в стране Ирина Шашкова написала тогда же, без иносказаний и недомолвок («У стен тюрьмы», 1938):

...Чернотой отечной,
змеиным шевеля хвостом,
всё та же очередь. Бессрочно
круженье снега под дождем.

Не принимают передачу
и выдают в крови белье.
Отходят молча. Здесь не плачут –
здесь всех бессонниц колотье.

А там, вверху, двойным застенком
решетки со щитами, там
всё тот же грубый окрик: – К стенке! –
Да переклички по часам.

Эта страшная очередь в «свободной Стране Советов» стала в конце 1930-х таким же привычным, повторяющимся явлением, как «Ночь, улица, фонарь, аптека...», – у Шашковой слышны здесь отголоски этого блоковского стихотворения 1912 года: «всё та же очередь», «всё тот же грубый окрик», «а завтра то же: ночь, метель...». Трагические образы родителей – ключевые образы её лирики конца 1930-х – 1980-х годов.

В 1937 году, после ареста отца, Ирина отказалась признать его «врагом народа» и была исключена из университета. Позднее, после известного заявления Сталина о том, что «сын за отца не отвечает», она была восстановлена и завершила учебу в 1941 году.

В 1940 году Ирина ездила в Темниковский ИТЛ, а проще говоря – концлагерь (Мордовская АССР), где ей было разрешено свидание с матерью. Во время войны находилась в эвакуации, в 1942 – 1943 гг. работала учителем в Петелинской средней школе, под Тулой.

Она вернулась в родной город после его освобождения и в марте 1944 года поступила на работу в Харьковскую государственную научную библиотеку имени В. Г. Короленко. Главным местом ее работы здесь стал отдел старопечатной и редкой книги – с июня 1945 года и до ухода на пенсию в 1974 году. Дочь Татьяну, родившуюся в 1944-м, Ирина Васильевна воспитывала сама.

Среди библиотечных коллег Шашковой были близкие её подруги, адресаты многих её стихов*. Это – Маргарита Орестовна Габель, литературовед, библиограф и книговед, любимая ученица выдающегося ученого-филолога академика А. И. Белецкого, первая заведующая отделом старопечатной и редкой книги, который был образован по её инициативе в 1940 году. Вера Григорьевна Трамбицкая, ученый секретарь библиотеки и одновременно – преподаватель Харьковского библиотечного института, в 1950 – 1954 гг. – узник сталинского концлагеря. Инна Сергеевна Гончарова, сокурсница И. Шашковой, в недоброй памяти 1937-м, на студенческом собрании голосовавшая против её исключения. Впоследствии И. С. Гончарова стала заместителем директора Библиотеки им. В. Г. Короленко по научной работе.

Из воспоминаний сотрудницы библиотеки Татьяны Григорьевны Шерстюк:

> «Ирина была чуть старше меня. Мы уже познакомились (в 1944 г. – *И. Л.),* несколько раз поговорили, и я как-то сразу к ней привязалась. Мне по душе была её сдержанность и, вместе с тем, умение пошутить, интеллигентность, доброта. Среднего роста, строгая классическая прическа, одухотворенное лицо. <...> Ире повезло: Маргарита Орестовна щедро делилась с ней своими знаниями, эрудицией, умением работать с книгой, особенно со старопечатной. Нужно отметить, что и сама Ирина была высокоэрудированным человеком. Филолог по образованию, она прекрасно знала историю литературы, всеобщую историю, фольклор».

Ирина Васильевна стала специалистом-книговедом, библиографом, знатоком книжных памятников разных эпох, автором корпуса научных описаний библиотечных раритетов – изданий XV – XIX вв. на древнегреческом и латинском, церковнославянском, других древних и новых языках. Эти описания и ныне составляют основу хронологического каталога старопечатных и редких изданий ХГНБ им. В. Г. Короленко. Освоила она и такие вспомогательные исторические и филологические дисциплины, как палеография и археография, исследовала и описала десятки древнерусских и староукраинских рукописных книг, поступивших в фонды библиотеки. Большой научной её заслугой является атрибуция редчайшего первопечатного Евангелия 1550-х гг., вышедшего из т. н. Анонимной типографии; ныне это – древнейший памятник восточнославянской печати в украинских библиотечных собраниях.

---

* Далее см. также: Гофф И. На белом фоне. Рассказы. Воспоминания. – М.: Сов. писатель, 1993. – С. 39 – 48 (о М. О. Габель); Раскіна Т. С. Штрихи до портрета М. О. Габель: (До 100-річчя з дня народження) // Культура України: Зб. статей. – Х.: ХДІК, 1994. – Вип. 2. – С. 143 – 155; Слово о друге. Памяти харьковского библиотекаря В. Г. Трамбицкой / Сост. И. А. Гольдфельд, Т. С. Раскина. – Х.: Б. и., 2001.

Нельзя сказать, что её многолетний труд в библиотеке не был по достоинству оценен коллегами и начальством. В 1967 году И. В. Знаменской вручили Почетную грамоту Министерства культуры УССР – такой чести удостаивались тогда отнюдь не многие из числа «простых советских» библиотекарей.

И всё-таки не эта, а поэтическая работа, вдохновенная и потаенная, оставалась главным делом её жизни. Лирическая героиня полушутливого стихотворения Шашковой 1957 года «Сижу за решеткой лет десять подряд...» мечтает вырваться из пыльного царства инкунабул и альдин: «...вам здесь оставаться, а мне – в облака, / мне – поле и ветер, вам – пыль и века!». «Решетка» в этом стихотворении – и символ неволи, и внутрибиблиотечный, «рабочий» термин: коллекции редких изданий и рукописей были отделены в хранилище от других фондов специальными дверьми-решетками.

После 1949 года, когда М. О. Габель, отнесенная властями к числу «безродных космополитов», вынуждена была уйти из библиотеки, работать здесь Ирине Васильевне стало гораздо труднее. Как она рассказывала автору этого очерка, новый её начальник – Алексей Иванович Черкашин, хотя и любил книгу, тотчас же занялся выявлением в уже созданных коллекциях «идеологически вредной» литературы и сразу обнаружил крамолу – книги «врага народа» Николая Гумилева, «злейшего врага Советской власти» Дмитрия Мережковского... Находя такие книги на полках, он с остервенением швырял их прямо на пол, – этого Ирина Васильевна не могла ему простить никогда. А главными направлениями в деятельности отдела теперь стали расширение и пропаганда коллекций прижизненных и редких изданий трудов «классиков марксизма-ленинизма», собирание книг писателей – лауреатов Сталинской премии и т. д., и т. п. Конечно, этим занимались – должны были заниматься – в отделе и прежде, ведь время было такое, но молодой заведующий, «идейный», убеждённый коммунист, действовал с особенным усердием.

Она спасалась от всей этой несвободы, продолжая писать стихи «в стол», отшучиваясь – не без горечи:

Приходит тюремщик – святой Алексей,
чело отражает победу идей,
идеи растут, громоздят этажи...
Кружи, мое бедное сердце, кружи.

Знал бы «святой Алексей», которого она называет в тех же стихах даже ласково «Алешей», *какие* стихи писала тогда, в последнее сталин-

ское десятилетие, Ирина Шашкова... Когда поэты без удержу славили «Отца всех времен и народов»*, других, давно усопших, но «бессмертных» коммунистических «богов», она видела и запечатлевала в слове истинный смысл происходящего («Крик голых веток под моим окном...», 1944):

...Ты споришь с Богом словом и судом –
благословляет пытками и смертью.

Бог всех убил бы – мертвых и живых,
убил бы дважды, укрепленный властью.
Он узколоб, он гнусен и труслив,
он прячется, и он грузин, к несчастью.

Ясно, кто этот «Бог», подменивший собой церковного Бога, а то, что он грузин, означает одно: нет, он не «Бог», а человек, которого ненасытная жажда власти и боязнь её потерять превратили в убийцу и тирана.

Замечательно предложенное ею впоследствии определение, кто, а точнее, *что* есть Сталин: «одели в зеркало и камень / нас обуявший ночью страх» («Когда как огненная птица...», 1954). Это – страх людской, самими людьми превращенный в монументы: они смотрели на «Бога», как в зеркало, потому что видели себя – униженными, сломленными. Не только боясь, но и боготворя «Отца» и «Учителя», искренне пели о «Сталине мудром, родном и любимом». Незаметно для себя они оказались внутри мифа, ими же в соавторстве со Сталиным и малыми «вождями» сотворенного. Шашкова жила вне этого мифа, не разделяя «необыкновенной любви к божеству маленькому, узколобому и рябому» (цитата из её воспоминаний).

Для того, чтобы читатель XXI века получил представление о том, в какой степени положительный образ Сталина-триумфатора проник в общественное сознание (речь идет не об официальных оценках – о реальных настроениях советских людей, в том числе в кругах научной и творческой интеллигенции), приведем строки из дневника известного литературоведа Л. И. Тимофеева, запись 7 мая 1945 года: Сталин «показал себя в полном блеске: глубокий расчет, воля, выдержка. Сейчас он единственный действительно великий во всем мире. Пусть побольше ест свой женьшень. Когда через 30-40 лет

---

* Марк Тарловский даже сочинил в 1945 году верноподданническую... стилизацию под русскую оду XVIII столетия, начинающуюся обращением к «вождю»: «Лениноравный маршал Сталин!..» (См.: Перельмутер В. Торжественная песнь скворца, ода, ставшая сатирой // Вопр. лит. – 2003. – № 6. – С. 27 – 31). В шашковских стихах подобные сочинения названы «песенным навозом», которым удобрялась почва сталинского режима.

у нас вырастет интеллигенция, нам цены не будет!»[1]. «Признания в любви» Сталину находим на послевоенных страницах дневника Корнея Чуковского, в письмах Бориса Пастернака...

В те годы Ириной Шашковой были написаны десятки стихотворений, где обличается Сталин и созданный им человеконенавистнический режим: «Вновь началось и продолжилось. Боже! / Сорок девятый как тридцать седьмой...» – стихи 1949 года о травле «безродных космополитов», позорной и опасной пропагандистской истерии, охватившей страну. Стихотворение «Родина» (1949) – против распространившихся в тогдашнем советском обществе антисемитских настроений. Политические циклы 1951 – 1952 годов, которые навсегда останутся в истории внутреннего противостояния сталинизму («Я не могу, я не могу, – мне надо...», «В дворцах и сенях, под охраной пушек...», «Суд совершен. Обмануто потомство...», «Крик», «Тамерлан», «Нас обманули яркие слова...», «Суд» и др.).

Циклы стихов, посвященных гибели отца и адресованных новым лагерникам и ссыльным – военного и послевоенного времени. Написала она и о том, что «книги стали узниками тоже», – о сталинских «спецхранах» («Книги», 1952).

Кому-то эти гневные поэтические инвективы могут показаться чересчур прямолинейными, одномерными. Такого же мнения был Борис Пастернак о знаменитом стихотворении Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...» (1933). Но время доказало правоту и мудрость последнего. Нельзя не поразиться и прозорливости Ирины Шашковой: гнев не помешал ей раскрыть природу сталинского мифа, создать десятки вполне самостоятельных «вариаций» на тему мандельштамовского стихотворения. Определенно можно говорить лишь о типологическом сходстве, поскольку мы не знаем, был ли его текст известен Шашковой в те годы, и очевидных его аллюзий и реминисценций у Шашковой нет. В отличие от пушкинских реминисценций: например, в её рассказе о том, как «пламенные революционеры» привели страну к тирании и вскоре сами были причислены к «врагам народа», – отзвуки послания «К Чаадаеву» (1818): «...вы в дар тирану выдали порфиру, / в грязь затоптали ваши имена» («Суд совершен. Обмануто потомство...», 1951).

В 1952 году Шашкова начала поэму «Летопись», написав первую главу «Голод» – о голодоморе 1932 – 1933 годов: «Ужасный год – он врезался в сознанье...». Вернулась к этому замыслу через десять лет, но поэма осталась незавершенной: слова отступили перед траурной тишиной.

1 Цит. по: Знамя. – 2005. – № 5 – С. 179.

И все-таки о «немыслимом» годе она рассказала, став голосом поколения, которое лишило себя голоса – под страхом лишения жизни.

И если голос наш услышан будет
через века – мы будем тем горды,
что нашу правду передали людям.
Мы под землей оставили следы.

Шашкова была из тех считанных смельчаков, которые уже *тогда* писали правду, но вынуждены были скрывать свои крамольные тетради от «стукачей». Тютчевскому совету («Silentium!») она следовала только отчасти: свои мысли, чувства и мечты она скрывала от многих, но молчать не могла.

Пусть руки стен не могут сдвинуть с места,
под пыткой страха сердце изошло...
Где наш язык? Зачем нам лгали с детства,
что можно жить открыто и светло?

Где наш язык, подобный грому меди?
В начале мира Слово было Бог.
Измызгали его и изгалдели,
первоначальный исказили слог.

(«И жизнь не дрогнула,
и сердце не упало...», 1950)

Конечно, такие стихи Ирина Шашкова могла читать только в узком кругу единомышленников, надежных друзей. И такой круг у неё был. Благодаря дружбе с М. О. Габель, продолжавшейся и после ухода Маргариты Орестовны из библиотеки, она сблизилась со многими представителями настоящей, а не номинальной гуманитарной элиты Харькова тех лет, подружилась с блестящими учеными и педагогами. Это – известный лингвист, а также переводчик и пародист Александр Моисеевич Финкель, автор популярного вузовского учебника, переводчик «Сонетов» Шекспира и один из трех авторов знаменитого сборника литературных пародий «Парнас дыбом», четыре издания которого вышли в 1920-е годы. Литературовед, специалист по западноевропейской литературе, выдающийся историк украинской старопечатной книги и библиофил Исаак Яковлевич Каганов, замечательные университетские лекторы и ученые историк Генрих Венецианович Фризман и литературовед Марк Владимирович Черняков. Литературовед и педагог, любимая ученица М. О. Габель Галина Александровна Василье-

ва (некоторое время она была коллегой И. Шашковой по работе в «габелевском» отделе) и ее муж, известный украинский учёный-лингвист Сергей Иванович Дорошенко.

Дочь Ирины Васильевны Т. В. Знаменская вспоминает:

> «...в те страшные послевоенные годы это был единственный в своем роде редкостный союз людей, объединенных научными, духовными интересами, инакомыслием и исключительным доверием друг к другу. Здесь можно было говорить обо всем: о литературе – неофициозно, о политике – полемично, опасную правду. <...>
> В доме М. О. Габель царила атмосфера творчества. Каждую субботу или воскресенье собирались у неё друзья. Эрудиция, остроумие участников превращали эти встречи в праздник».

Шашковские стихи сохранили отзвуки этих бесед («Новогодние кражи у Пушкина и Ахматовой», 1948 – 1949), «умом сверкающую речь» (из стихотворения 1948 года, посвященного М. В. Чернякову).

Особая доверительность была и в отношениях Ирины Васильевны с академиком Александром Ивановичем Белецким, часто приезжавшим в Харьков – город своей юности. Она стала желанным гостем и в его киевском доме, здесь и в Харькове не раз они читали друг другу свои стихи. (Большая часть поэтического наследия А. И. Белецкого до сих пор не опубликована.)

Только в этом довольно узком кругу её харьковских и киевских друзей знали о гневной и скорбной музе Ирины Шашковой. Здесь же читали, передавая друг другу, рукопись мемуаров Сергея Михайловича Ставровского, работавшего в отделе старопечатной и редкой книги вместе с М. О. Габель перед войной, родственника русского писателя В. В. Вересаева. Воспоминания эти – о жизни «под большевиками» в конце 1910-х – 1930-х годах – настоящая антисоветская литература под красноречивым названием «Черные годы, или “Bestia triumphalis”»[*].

О том, что друзья ценили поэтический дар Шашковой, свидетельствуют и воспоминания современников[**], и сохранившийся большой «самиздатовский» сборник её «Стихотворений» 1952 года, в узорном матерчатом переплете. Текст машинописный, запретные слова – «конвой», «тюрьма», «ссылка» и т. п. – здесь заменены отточиями, есть даже целые строфы отточий: эти строфы друзья знали наизусть.

В своих же рабочих тетрадях Шашкова использовала различные формы конспирации. Первой главе «Летописи» она дает название «Царь

∗ Частично опубликованы: Минувшее. Ист. альманах. – М.; СПб., 1993. – Вып. 14. – С. 7 – 98.

∗∗ См., напр.: О Леве Лившице. Воспоминания друзей / Сост. Б. Л. Милявский. – Харьков: Б. и., 1997. – С. 5.

низвергнут», как будто речь идет в ней о событиях начала века – от революции 1905 года до «Октября» 1917-го. Заменяя отдельные строки «Летописи» строчками-ширмами, Шашкова сохраняет при этом (зачеркивая!) фрагменты настоящих строк, создавая ложное впечатление некоей черновой авторской работы. Так, в намеренно искаженной ею строке «Догматикой церковного ученья» между первым и вторым, подставным словом зачеркнуто слово «бездушного». «Догматика бездушного ученья» – это не о религии, конечно, а о марксизме-ленинизме. Точно так же сталинское «единовластное управленье» превратилось в «царское», сталинский террор – в «черносотенный». В зачеркнутом виде здесь сохранена для памяти строка, которую Шашкова решилась записать целиком только в 1970-е годы: «Отставленный от дел молчал <Бухарин>».

Примеры подобной конспирации, переиначивания подлинного текста, находим и в других шашковских рукописях первой половины – середины 1950-х годов. Посвященное трагической судьбе Николая Бухарина стихотворение «Партбилет» (1952) в старой тетради становится «Партбилетом Тельмана», и другой сталинский мученик – Николай Крестинский – также назван здесь Тельманом. Действие в обличающем Сталина «Суде» (1952) переносится в революционную Францию конца XVIII века. Другое антисталинское стихотворение – «Годовщина. 5 марта 1954» получает тут название «Годовщина. 1946 г. Франция», т. е. приурочено... к 125-летию со дня смерти Наполеона, а в тексте «Москва» заменена на «Париж» (однако на полях карандашом поставлена литера «М.»).

Интересно, что в ряде случаев фигуры отдалённой истории перестают быть у Шашковой только декорациями, и, увлекаясь ими, она создает полнокровные исторические образы, обращаясь, например, к событиям и лицам Великой французской революции. Что же касается ложных названий и строчек-ширм, то они были окончательно устранены Шашковой при составлении ею рукописного «Избранного» в четырех тетрадях (конец 1970-х – 1987 гг.).

К гражданской лирике Ирины Шашковой мы ещё вернёмся, но хотелось бы сказать и о других измерениях её поэзии – лирике любовной, суггестивной, медитативной, о текстах, образующих её поэтическую философию. Последних сравнительно немного, а интимный лирический её «дневник» – это десятки циклов, сотни стихотворений – от эпиграмматических четверостиший до больших лирических монологов и лироэпических поэм. Поэзия неясных, непредсказуемых в своем развитии и, наоборот, вполне определенных душевных состояний, каскады ассоциативных образов...

Всё ластилось ласочкой в бег,
всё ластилось ласточкой в лет.
Не это ли снега пробег?
Не это ли яблони мёд?..
....
Черемух моих лепестки
и тополя реющий пух, –
вы ласкою Божьей руки
вошли в заколдованный круг.

(Из стихов 1952 г.)

Как непохожа эта песня нежнейшей любви к жизни, к Божьему земному миру на столь же вдохновенную, но гневную и пророческую гражданскую поэзию Шашковой, «обвинительную речь» с её четкой графикой образов, железной логикой аргументов и доказательств...

Природа, музыка, живопись, история, ветхозаветные, евангельские и литературные персонажи, судьбы великих поэтов, судьба Петербурга-Петрограда-Ленинграда – любимого города Ирины Шашковой – и многое другое тематически представлено в её тетрадях, но всё это, прежде всего, средства и формы выражения внутреннего мира автора – на путях словесного довоплощения этого мира. Если подходить к поэзии Шашковой с требованиями, предъявляемыми к профессиональному литератору, обнаруживаются авторские просчеты в сюжетостроении и композиции, стилистическая небрежность, ожидаемые эпитеты, бедные рифмы, «южнорусские» ударения в словах, метрические погрешности, подражательность... Отчасти и Шашковой можно переадресовать слова, обращенные ею к другому поэту и коллеге по работе в Библиотеке имени В. Г. Короленко – Ольге Тимофеевне Бондаренко: «Вы в поэзии – не открыватель, их единицы. Отсюда и чужие ритмы»[*].

Шашковой тоже не всегда удавалось преодолеть власть чужой творческой манеры: увлекаясь, она вольно или невольно становилась имитатором «другого голоса», например, подчиняясь ритмам и интонациям Гумилева («Он волосы трогал по-женски изящной рукой...», 1947), Есенина («Русь», 1952), Маяковского или даже Шершеневича («Довольно любви опереточных выдумок...», 1951; «Мне бы сейчас Маяковского голос...», «Я тоскую, я жду, никакие доводы...», 1952).

---

* Цит. по: Бондаренко О. И живет моя частица в светлой книге бытия / Сост. С. Б. Шоломова. – Харьков: Б. и., 2003. – С. 184.

Многие её стихотворения так и остались на уровне черновика, в том числе и буквального черновика – с перечеркнутыми строфами, с вариантами строк, но всё-таки в большинстве своём это черновики настоящих стихов. И замечательны у неё «прорывы» к беловикам – в строчках, строфах, а иногда и целых стихотворениях.

Может быть, Шашкова писала чаще и больше, чем следовало поэту: не считая поэм, приблизительно по 150 стихотворений в наиболее «урожайные» годы, например, в 1952 – 1953 гг.; в другие – до 50 – 70-ти. Были, правда, и годы молчания, почти бесстрочные годы – 1966-й, 1970 – 1974, 1986-й. Но стихи возвращались, это была, по её словам, «всегда неумирающая страсть» («Любовь», II, 1953), превращавшая творчество в лирический «ежедневник», где много есть случайного, неглавного, написанного вполсилы, когда «стихов пустое рукоделье / сквозь пальцы медленно течет» (черновые строки 1962 г.) и начинает казаться, что «скучному слепому прозябанью / на свете меры нет» (из четверостишия 1951 г.). Так душу одолевает «мутная скука дней» («Тяжелее, чем камень, пущенный вниз...», 1952).

Но другие стихи – исповеди и молитвы – были ей жизненно необходимы, здесь Шашкова достигает несомненного поэтического мастерства.

Шашкова – автор семи поэм, но мерный эпический ритм чаще всего перебивается у неё эмоционально заряженной лирической волной, и нередко это – чувства, достигшие своего апогея, – любви, нежности, восхищения, преклонения, гнева, отчаяния, скорби.

Любить! – И никогда не утолить мечты,
свой жадный сон сдавить своей рукою,
лишь изредка исписывать листы,
замкнув любовь короткою строкою.

Дать ей в дыханье начертанье букв,
перевязать ей руки ритмом пыток,
зажать ей рот, замедлить сердца стук...
А нежности куда девать избыток?

(Из стихов 1950 г.)

Ей не чужды были мотивы жгучего романса, с перебором чувств, но лучшие её стихотворения – те, где явно присутствует или угадывается очень характерный шашковский образ – «строгое сердце», лирическая героиня говорит о себе: «Я родилась упрямой и некроткой» («Письмо к Л.», 1954). И о своей любви не раз говорит, что это – «трудная», «упрямая любовь», редко счастливая, «строящая счастье на песке» («Мой нежный друг, мой милый друг, напрасно...», 1948). Неразделенная лю-

бовь, а вернее – любовь, не находящая достойной ответной любви, столь же «строгой» и «упрямой», самоотверженной, безоглядной.

Я с каждым днем люблю сильней
и вижу с каждым днем,
что гасну я в судьбе твоей
безрадостным огнем.
....

Но если так легко уйти,
то кем же я была?
Прощай. И пусть тебя в пути
не настигает мгла.

(Из стихов 1953 г.)

От любимых и дорогих людей, от друзей она ожидала, даже требовала той же полной самоотдачи, преданности, рыцарского служения – дружбе, любви. Из стихов 1952 года, посвященных М. О. Габель:

Ты мне нужна, – и я приду к тебе,
приду за трудной радостью земною,
приду сквозь бурю, налечу волною
и всю тебя потребую себе.

Лирический сюжет интимной поэзии Шашковой ведет её героиню от счастливой встречи с любимым, когда сердце поет и поют даже нимфы, веками молчавшие на аллеях старого сада, к неизбежной разлуке, которая – ещё до самого расставанья – начинается в душах героев. Трагичен «ленинградский» её цикл: «Даже тенью не войти мне в даль / улиц убегающих твоих» («Зачерпнула воду из ведра...», 1954), трагична та, совсем другая радость, когда «...душа сквозь боль и муку, / все тени прошлого губя, / уже приветствует разлуку...» («Река», 1954). Выдержит ли героиня это испытание любовью-«горем», намереваясь «жить спокойно и сурово»? («Бывает счастье трудным, как беда...», 1961). Чувство защищенности присутствует в этих строчках, но не потому ли, что здесь – очевидная ахматовская аллюзия?[1] Такое у неё, по собственному признанию, «невесёлое счастье»... Печальна последняя встреча с любовью:

Сияют далекие звезды,
в рожки золотые трубя,
но грустно и слишком поздно
я встретила в жизни тебя.

(Из стихов 1972 г.)

---

1 Ср.: «А мы живем торжественно и трудно / И чтим обряды наших горьких встреч…» // Ахматова А. Собрание сочинений. – М.: Эллис Лак, 1998. – Т. 1. – С. 238.

Как уже отмечалось нами, многие стихи Шашковой словно продиктованы ахматовской музой, сходство порой разительное, но Шашкова, кажется, не вполне осознавала эту явную зависимость как творческую неволю. Можно представить себе, какие настроения были в кругу её друзей в августе 1946 года, когда в газетах появилось известное Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», а вслед за ним – лавина публикаций о «пустой», «чуждой», «безыдейной» и «антинародной» поэзии Ахматовой. В ту осень на встречах у М. О. Габель звучали опальные стихи, а 7 ноября – в праздник, который тогда назывался Годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, Ирина Шашкова так надписала свой экземпляр «Белой стаи» 1922 года: «Это моя самая любимая книга». В 1951-м она составила из ахматовских стихов, осужденных товарищем Ждановым, машинописный сборник.

Чувство общей вины и личной вины – «перед целым светом» – за то, что великая Ахматова была, подобно Одетте, загнана в «озеро тьмы», живет в позднейших стихах Шашковой, 1978 года.

Я стыжусь –
это было с Анной.
Милый друг, это было с Анной,
это было с нашею Анной.
Я стыжусь.

Ирина Шашкова верила, что наступит время, когда Ахматову венчают «в цари» (из стихов 1955 года, возможно, цветаевская реминисценция), понимая, что это торжество, скорее всего, не будет прижизненным, подобным тому, когда по решению римского сената лавровым венком короля поэтов был увенчан Франческо Петрарка.

Отметим интересную черту шашковской поэтики – особую роль архаизмов. Часть из них – очевидные приметы родства с золотым веком русской поэзии и вообще с литературным XIX веком (например, «мЯтель», звЕздный», «онЕ» в стихотворных посланиях Шашковой М. О. Габель, чьи научные интересы, в основном, были сосредоточены на этой литературной эпохе). А в гражданской лирике Шашковой встречаем «вопіет», «змій», «убіенный» и т. п. (с *и* десятиричным, упраздненным советской реформой 1917 – 1918 гг.!). Подобные архаизмы, лексические, даже графические, подчеркивают стилистическое родство этой лирики с церковнославянским и русским переводами Ветхого Завета – в первую очередь, Книг пророков, но и других, «историографических» Книг, начиная с Пятикнижия Моисея,

по мотивам которого Шашкова написала небольшую поэму («Моисей», 1951). Библейский интертекст в шашковских «летописях» XX века связует их с темой извечного противостояния Бога и дьявола («князя мира сего»), сил Добра и Зла.

Тема *памяти* – одна из главных тем шашковской лирики, где прошлое часто заслоняет «неверное сейчас» («Пусть все клянут тебя, тоска...», 1947). Это – «трудная», «скорбная» память, от неё никуда не спрятаться.

Трагически прекрасно стихотворение, посвященное ею памяти отца, – «Было сердце человека целью...» (1952). Здесь присутствуют образы и мотивы многих стихотворений Шашковой, в которых раскрывается тема мученика, жертвы «драконьего века». Об этом времени она говорит лаконично и точно: «Были годы горя и удушья, / согнутые плечи под бедой…». Смертник, один из сотен тысяч таких же обреченных на смерть жителей сталинского «рая», хватает пальцами землю и в последний раз видит над собой земное небо. На этой злой земле остаётся его дочь – любящая, помнящая, скорбящая. Ненавидящая его палачей.

Мир немой, глухой, необозримый,
мир вещей и нашей суеты,
это он в коварстве нестерпимом
заслоняет милые черты.

Но глаза сквозь вещи снова видят
неба уплывающую высь.
Я учусь смертельно ненавидеть,
вечно помнить этой пули свист.

Так тема памяти у Шашковой соединяется с темой возмездия, грозно и часто поэт предупреждает палачей: «...всё припомним». 7 сентября 1937 года – день, когда забрали отца, – снова и снова возникает в её стихах: «...дом разорили мой, / мать заплакала при чужих» («Лейтенант Шмидт», IX, 1955). Впервые – при чужих...

Чаще всего «срабатывает» есенинская максима: «Большое видится на расстоянье», но и при Сталине жили в нашей стране дальнозоркие, всё понимающие, они и на близком расстоянии могли увидеть большое зло. В годы, когда молодой поэт – будущий кумир «оттепельной» молодежи – славил тирана – «победителя» и «миротворца», Шашкова, почти не прибегая к средствам эзопова языка (разве что в «Тамерлане»), обличала его в стихах, исполненных не только гневом, но и пониманием, что каждый день престарелого «вождя» приближает к гибели страну, приближает третью мировую войну.

Акыны с Солнцем ум его сравнили,
он выше гор памирских, глубже вод,
не потому ли наглухо закрыли
ещё царями запрещенный вход?
В маниакальном страхе до рассвета
работает гестапо-МВД,
но страх растет тенями кабинета,
он на земле и в небе, он везде.
Грузинский дьявол, чувств иных не зная,
в ознобе ночи – власти жаждет он:
от древних стен раскосого Китая
уже глядит и видит Вашингтон.
Мир затравить. А люди – вздор и пешки.
Мы – винтики...

(«Суд», 1952)

Поразительно, как верно здесь угадано психологическое состояние «кремлевского горца», ведь о многом Шашкова знать тогда не могла (наиболее частый «оправдательный» аргумент в устах тех, кто прозрел гораздо позже). Теперь дошли до нас свидетельства современников о заметно обострившейся у Сталина в конце 1940-х – начале 1950-х старой болезни – паранойе, выявленной у него ещё великим неврологом и психиатром В. М. Бехтеревым в 1927 году: никому никогда не веривший «вождь» панически боялся измены, заговора и готовил новые «процессы», а перед сном всегда заглядывал под свою кровать – искал подосланных убийц...

К всевластному Тамерлану в одноименном стихотворении Шашковой (с посвящением «И. С......») во сне приходит «раб, поднявший пламя мятежа». Она предсказывала этот мятеж: «...близок сполох гнева... Россия бедствует...» («Так мертвого любить нельзя...», 1952). Но никогда не идеализировала «свободный» западный мир. Антиамериканская кампания была тогда в СССР в самом разгаре, и в шашковских стихах можно усмотреть её отголоски, но она видела больше и дальше, чем советские борцы за мир, и писала стихи о «двойном рабстве» – власти денег на Западе и тиранической власти Сталина на Востоке.

Вот монолог мыслящего её современника, борца за свободу и справедливость, неожиданно для себя оказавшегося в новейшей «тюрьме народов». Потому он и переиначивает строчки «Интернационала»: «...не своей ли собственной рукою / я бич вознес, как флаг, над головою / и вылепил огромный свод тюрьмы, – / под этим сводом задохнулись мы» («Двойное рабство», 1951).

Шашкова задавала вопросы, за которые тогда получали 10 лет без права переписки: «Разве может быть жизнь чиста / с сердцем рабьим?» (из стихов 1950 г.). Одно из её стихотворений 1951 года, с посвящением «И. С....ну», предупреждает тирана: «И только мысли живы и упорны, / ни расстрелять их, ни сослать нельзя». Шашкова хорошо понимала, что тоталитаризм обречен в конечном счете на поражение, потому что не в силах обеспечить тотальный контроль над человеческими душами. Она убеждена: «...для истины – запретной речи нет» («Суд совершен. Обмануто потомство...», 1951). От имени «винтиков», «убiенных» и каторжных, молчащих и прозревающих, Ирина Шашкова формулирует главное обвинение кремлевским правителям:

Вы слышите: уже на голос мщенья
встают слова жестокие, как смерть,
исчислены все ваши преступленья:
убийства, тюрьмы, каторга и плеть.

(«Крик», 1951)

«Мятежников» среди её современников не оказалось, а выдуманных «врагов» Сталин продолжал уничтожать с той же звериной жестокостью, какую проявлял в 30-е годы, проводя безвинных людей перед смертью через страшные пытки и унижения. В стране жили миллионы одурманенных советской пропагандой людей, однако тайная оппозиция режиму всё-таки существовала: «...народ уходит в катакомбы, / но в подполье он уносит свет», «...он загнан, но не обессилен» (из стихов 1951–1952 гг.).

Шашкова верила в духовные силы народа, искала и находила среди современников – единомышленников. В одной из её тетрадей мы обнаружили текст стихотворения Ольги Берггольц «На собранье целый день сидела...» (1948 – 1949), тогда ходившего в списках, а напечатанного лишь в эпоху «перестройки и гласности». Стихи, близкие Шашковой по духу, открыто оппозиционные, начиная с первой строфы:

На собранье целый день сидела –
то голосовала, то лгала...
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?..

В них есть и другие крамольные строфы – о штрафных батальонах, которые сталинский маршал Жуков, заслуженно прозванный солдатами «мясником», имел обыкновение бросать первыми в наступление через минные поля. Здесь описана такая же «разведка боем», где

штрафники искупили кровью и смертью свои «небывшие грехи»; замечателен финал: «Как мне наши праведники надоели, / как я наших грешников люблю»*.

Отношение Шашковой к Сталину всегда было неизменно отрицательным, не знала она трудного пути к «прозрению», эволюции, какую пережил и запечатлел в своих стихах Александр Твардовский, – от веры и преклонения до разочарования и отчуждения. Шашкова не отрицает исторических заслуг Сталина-«воина», Верховного Главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны, но настаивает на том, что заслуги (были они, скажем, и у Л. П. Берии) не снимают с него вины за чудовищные преступления. «Великий стратег» и «корифей наук» был, прежде всего, моральным уродом, что стало не меньшей катастрофой для страны, чем немецко-фашистское нашествие. Шашкова прямо говорит, что «король гол», обличая нравственное его ничтожество. В год смерти Сталина она обратилась к поэту будущего – «свободному и взыскующему поэту»:

Приветствую, ты – вся моя надежда.
Прочти же сам в анналах наших дней,
как голому ничтожеству одежду
мы выдумали низостью своей.
Как, задыхаясь, мы кричали: – Браво! –
Рукоплескали собственным цепям.

(«Поэту», 1953)

Задолго до перестроечного кинофильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе в гражданской лирике Ирины Шашковой прозвучало требование не хоронить и не держать в мавзолеях упырей-тиранов. О Сталине, внесенном в ленинский мавзолей, она писала: «...за миллионы могил / надо мертвым его расстрелять» («Траурный марш», 1956). Понимала, что борьба со сталинизмом – с «тенью Тамерлана» – только начинается и будет долгой, очень долгой.

Только на исходе «перестройки» многие наши соотечественники (и автор этих строк тоже) стали осознавать, что в сущности нет большой разницы между Лениным и Сталиным; не о личностных особенностях речь – о природе их власти. А Шашкова говорила в год смерти последнего: Ленин и Сталин – это «черная власть», «цепь с батогом», Соловки и Магадан («Сталин и Ленин...», 1953). Ленин аттестован ею как «фанатик, фантазер и утопист» (явные отголоски плехановской критики,

---

* Берггольц О. Собрание сочинений. – Л.: Худож. лит., 1989. – Т. 2. – С. 97 – 98.

оценок, данных другими его товарищами по РСДРП), чьи дела закованы в «цепи догматов глухих». Теперь же он лежит под стеклом, «приглаженный и новый» («Диалог», 1952).

Шашковой чужд идеализированный и гиперболизированный образ Ленина, созданный Маяковским в одноимённой поэме 1924 г. и Пастернаком в «Высокой болезни» (1920-е гг.). Она отмечает только одну черту «вождя», вызывающую уважение, – личную смелость. Полемизирует с поэтом нового поколения – Андреем Вознесенским, цитируя в своих стихах 1978 года его бодрые маршевые строчки из поэмы «Лонжюмо» (1963) – о «гении» планетарного масштаба:

«Планета, как Ленин,
мудра и лобаста».
Всеведенья гений...
Не верю – и баста!

Именно «великому лобастому», его учению и заветам благодаря стали возможными кровавые дела Дзержинского и его последователей из НКВД, из второго «гестапо» – МВД, сталинский террор, предательство восставшего гетто в Варшаве, подавление «Московской любовью» народных восстаний в Венгрии и Чехословакии.

И всё это сделал
великий лобастый,
планетою ведал,
как бедною паствой.

Ему бы такое –
да спит в Мавзолее...

Строгая и совестливая муза Шашковой призывала ко всеобщему покаянию: мы сами сделали для себя *такой* XX век, ленинско-сталинский и нацистский. «Мы все здесь виноваты...» («Хайль!», 1962).

Одним из немногих советских политиков, вызывавших у Шашковой искреннее сочувствие и симпатию, был Николай Бухарин. Расстрел «подлых собак» в марте 1938 года потряс её, в шашковских тетрадях стали появляться стихи с посвящением «N. B.» (Nota bene – один из литературных псевдонимов Н. И. Бухарина 1910-х гг.). Лирическая героиня говорит с тенью расстрелянного «любимца партии».

У Шашковой была необыкновенно развита способность сопереживания униженным и оскорбленным, идущим на казнь. Даже не разделяя их взглядов, она сердцем и душой «прилеплялась» к чужой жизни, обра-

щая её в часть своей, в личный миф. Шашкова была искренна в своих стихах и, сопереживая, многое в чужой жизни угадала (и содержание предсмертных писем Бухарина, и судьбу его молодой жены). Стихи становились чутким зеркалом чужих страданий – не в последнюю очередь потому, что у Шашковой была своя беда, свои муки.

Бухарин выступает в этих стихах как обвинитель «предателей революции» (таким изображен ею и товарищ Бухарина по партии – в стихотворении «Крестинский. 38-й год»), но, по мысли поэта, расправа над соратниками Ленина стала возможной потому, что они сами причастны к установлению преступного режима в стране. Не случайно образ Бухарина, идеализированного в одних шашковских стихах, в других сближается с противоречивым образом «Неподкупного» – Робеспьера: «...кто оступился на путях свободы, / пусть шаг один – сам создал палача / и цепи, заковавшие народы» («Неподкупный», с посвящением «N. B.», 1952).

Можно предположить, что эта эволюция образа отчасти связана со спорами вокруг личности Н. И. Бухарина, которые велись в узком кругу друзей поэта. В «Диалоге» (с посвящением «N. B.», 1952) есть напоминание о том, что, наряду с другими большевистскими «вождями», и Бухарин «дела недобрые вершил» и виновен «в смерти тысяч». Став жертвами, «герои революций» не смыли с себя кровь жертв: «Отец мой жертва – вы чужие с ним, / он не причастен к распре недостойной» (там же).

У Шашковой, чья жизнь почти совпала с тем временем, которое останется в истории под именем «советской эпохи», можно иногда встретить образы почти идеальных «пламенных революционеров», подобных окуджавовским «комиссарам в пыльных шлемах», но всё-таки это была не её «песня». И уж совсем чужда была Шашковой характерная для советской поэзии героизация событий Гражданской войны (что, впрочем, не помешало ей по достоинству оценить таких поэтов, как Багрицкий и ранний Тихонов).

В гражданской лирике Ирины Шашковой второй половины 1940-х – начала 1980-х находим отклики на многие печально известные политические события тех лет, начиная с кампании против «безродных космополитов», «дела» Еврейского антифашистского комитета, «дела» врачей. Шашкова обличает преступления властей, спровоцировавших националистическую истерию – «квасной расейский наш патриотизм», антисемитизм. Радуется освобождению «убийц в белых халатах» и не очень доверяет «оттепели»:

Как поверю рассвету? Как ложь отличу?
Как пощечину смою с лица?
Он повсюду, он с нами, но я не хочу
жить опять под пятой мертвеца.

(«Траурный марш», 1956)

Шашкова понимала, что настоящего освобождения страны от сталинского наследия – тоталитаризма не произошло. Венгерские события подтвердили наихудшие её опасения («Венгрия», 1956). Сталин продолжал существовать в рабьих душах, и она считала своим долгом заявить: «Он в тысячах теперь, он выполнил урок» (т. е. завещание Ленина), «...и мы рабы его, над нами те же плети / и та же власть...» («Бессмертный», 1956). Через три года земляком Шашковой поэтом Борисом Чичибабиным будет написано знаменитое стихотворение «Клянусь на знамени веселом» (1959), очень близкое ей по духу.

Однако радоваться рано –
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.

...
А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?[*]

Но существенна и разница: Шашкова не верит «той же власти», преступной и лицемерной; впоследствии она назовет «оттепель» лишь «передышкой на час» («Царской славы невзрачной...», 1983). Чичибабин многое не может принять в этой стране, обрушиваясь на «государственных хамов», доносчиков, антисемитов, ретроградов, на «подонков», травивших Пастернака. Конечно, Чичибабин знает, что травля великого собрата ведется с ведома нового хозяина Кремля, иначе и быть не может, ведь прежняя, сталинская вертикаль власти сохранилась. Поэт клянется «на знамени веселом» – он полон решимости бороться против живучего ста-

---

* Чичибабин Б. И всё-таки я был поэтом: В стихах и прозе. – 3-е изд., испр. – Харьков, 2002. – С. 71.

линизма, который и вне, и «внутри нас», и при этом Чичибабин верит в возможность очищения, освобождения от него этой власти и этой страны. Как и многие в годы хрущевской «оттепели», он оказался в плену коммунистической утопии, писал о грядущем её «торжестве» и страстно проповедовал эту свою веру несовершенным современникам, в том числе и власть имущим, к которым тоже обращены процитированные нами прекрасные стихи. Разочарование и прозрение придут к поэту позже, во второй половине 1960-х.

Позиция же Шашковой – это, несомненно, более высокий, подлинно гуманистический уровень самосознания «советского человека», крайне редкий и совершенно не характерный даже для наиболее прозорливых граждан «Страны Советов» (речь идет о тех, кто, как Шашкова и Чичибабин, родился и сформировался в советскую эпоху). Среди немногих ее единомышленников – из числа сверстников – Александр Солженицын, в те годы, по возвращении из ссылки, работавший учителем средней школы в Рязани.

Ирина Шашкова тоже откликнулась стихами на позорную кампанию против Пастернака – циклом стихов («Распяли человека. Гвоздь вошел…», «Вопи, взбесившаяся свора...», «Опять настигла ночь меня...», 1958 и др.).

Гони его, трави и мучай,
ещё представится ли случай
в живую душу врезать клык?
Ведь душ живых совсем не стало,
он здесь один, – и в реве зала
его звериный суд настиг.

Есть у неё ещё один «пастернаковский» цикл – памяти великого поэта.

К числу наиболее значительных произведений русской гражданской лирики XX века следует, по нашему убеждению, отнести небольшое стихотворение Ирины Шашковой «Победа» (1968), посвященное событиям в Чехословакии.

О дева Обида, где крылья твои?
Над Чехией тучи и громы –
топочут солдаты не чешской земли
и ищут под танки соломы.

Кто еще из русских поэтов тотчас же откликнулся на эту катастрофу? Вспоминаются стихи-песни Александра Галича и поздние покаянные слова Владимира Высоцкого: «И я не отличался от невежд, / А если

отличался – очень мало, / Занозы не оставил Будапешт, / А Прага сердце мне не разорвала»[1].

Ирина Шашкова – определенно не из числа «невежд». Ей суждено было дожить и до новой кровавой авантюры, на которую решились престарелые кремлевцы: «Вот в Афганские степи / посылаем детей, / и живём всё нелепей, / и живём всё подлей» («Царской славы невзрачной...», 1983). Ирина Васильевна однажды призналась дочери: «Если бы не ты, не опасение, что это может испортить тебе жизнь, была бы я среди диссидентов».

В лирической героине шашковских стихов живет постоянная готовность к самопожертвованию – ради освобождения родины от внешних и внутренних её врагов. Она похожа на Жанну д'Арк.

Не звездный путь, не млечный свет в высотах, –
моя земля, веди меня к костру!
В кровавых снах и нищенских заботах
поставь меня, как пламя на ветру.

(«Любовь прошла, но есть светлей и чище...», 1953)

Но эта героиня – из XX века, и сгоревшая в пламени бабочка вызывает у неё характерные только для этого «просвещенного» века ассоциации: «Так вот и мы умираем... в печах Бухенвальда, в снегах Колымы и Тайшета, / так вот и мы...» (из черновика 1953 г.).

Поэма Ирины Шашковой «Лейтенант Шмидт» (1955) – не только ещё одно обращение к теме одноименной поэмы Бориса Пастернака, которую читают её герои. Тема двоится, нарастают исторические параллели, – и события начала века, история жизни, любви и смерти лейтенанта-бунтаря уходят на второй план. Начинается эпоха, вобравшая в себя миллионы личных трагедий.

Эпоха доносов, допросов и «троек», унижений и казней. Ей противопоставлен в поэме 1917-й год – время демократических перемен и больших ожиданий, которые, к несчастью, не оправдались.

Поэт остро чувствует свою личную вину за весь этот «срам» – вину и стыд. Молодые герои Шашковой пишут «дурашливое» письмо Пастернаку (похоже, это – событие автобиографического плана), но, увы, «на дворе» уже совсем другое «тысячелетье». Обращаясь к Пастернаку, автор пишет:

---

1 Высоцкий В. Сочинения. – М.: Худож. лит., 1991. – Т. 2. – С. 175.

Москва дышала тяжело и грузно,
туманом оступался Ленинград.
Оставь конверт с романтикой ненужной,
она пришла сегодня невпопад.

В поэме вообще много автобиографического: переживания дочери «врага народа», исключение из университета, когда сокурсники молчали и сторонились её, клятва верности: «Отец мой, навек твоя!». Есть строки и о всеобщем «Отце»: «Серою тенью встал человек, / воздух зажал в руке». Этот образ с документальной точностью отражает личный сталинский стиль, в 30-е годы зловеще отразившийся в облике страны. Даже молодой Михаил Кульчицкий, наивно пытавшийся героизировать время, когда «тупик Троцкого» был «взорван проспектом имени НКВД», в конце 30-х остро почувствовал это:

Не контрреволюционеры,
Куда опасней – непоэт,
Что хочет все окрасить в серый,
Казенный и вокзальный цвет[*].

Ещё страшней был сотворенный этим «серым человеком» и его опричниками земной ад, царство ужаса и «черных сил». Шашкова свидетельствует:

Этапы пути – Орел или Вязьма,
не всё ли равно, где,
как в тине, в ужасе мы увязли,
в твоей и моей беде.

В поэме возникают образы отдавших свою жизнь «за други своя» – на полях сражений Великой Отечественной войны, в блокадном Ленинграде. Рассказано и о первом послевоенном десятилетии, когда советские воины – освободители Европы от фашизма – «верховной властью» собственной страны были «взяты в тиски опять». Среди героев поэмы – женщина, ожидавшая любимого с войны (и после войны всё ожидающая его – зэка; он попал сперва в немецкий плен, а позднее – в «родной» концлагерь), видный ученый и врач, ставший «отравителем». Ещё в поэме много строк о любви, возникающей вопреки всему, что происходит «на дворе». О духовной стойкости, неутраченной воле к жизни, несмотря на то, что над человеком «кружит ястреб кровавых бед».

---

* Кульчицкий М. Вместо счастья. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте / Сост., подгот. текста и примеч. О. В. Кульчицкой, М. М. Красикова. – Харьков: Прапор, 1991. – С. 62, 92.

Но были друзья, и мечты, и звонкость
летящей в рассвет строки,
морозного воздуха блеск и ломкость
и светлая рябь реки.

И было великое это упорство –
всё пережить и знать:
отречься – как это легко и просто,
куда трудней устоять.

Пройти все пропасти, все напасти,
услышать злорадства смех
и верить: вот это и было счастье,
счастье моё за всех.

«Лейтенант Шмидт» – самое крупное произведение Ирины Шашковой. Как художественное целое поэма не состоялась, многие главы остались слишком похожими на черновики, но в ней есть не только сильные строки, но и замечательные главы, особенно – XXI-я, посвященная судьбам узников ГУЛАГа сталинского «последнего призыва» – жертв «борьбы с безродными космополитами» и антисемитской кампании властей. Свидетельствует Шашкова и о таком масштабном сталинско-бериевском злодеянии, как депортация народов Крыма в 1944 году. Глава эта написана в форме письма подруге-каторжнице Вере Трамбицкой. Показательно, что автором использованы ритм и размер известного патриотического стихотворения Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом...» (1942).

Говорят, что у нас с тобой
та же родина, та же жизнь,
почему же над головой
у тебя тюремный карниз?
..
Ты еврейка, а я к стыду
не могла понять до сих пор,
что куда-то в пропасть бреду,
на распятие и позор.

Но не этот единый срам
на душе моей как нарыв, –
винoградаря русский хам
гнал прикладом из гор родных.

Нету больше сакли в Крыму,
всё разнесено под базар,
вдоль дороги, вдоль шпал, в тифу,
за Уралом могилы татар.

И прозрачный молчит фонтан,
не роняет жемчужных слез,
у Байдарских ворот бурьян
куст гранатовый перерос.

И в брежневско-андроповские, и даже в горбачевские времена власть продолжала издеваться над целым народом, в главных газетах страны публиковались грозные статьи обо всех смертных его «грехах». Жить, зная об этой вопиющей несправедливости, сознавать своё бессилие (как помочь?!) Ирине Шашковой было очень тяжело. Она не раз вернется к этой трагической теме – в стихотворениях «Ты ль, Алиме...» (1978), «Зейнеп» (1984). Не будет преувеличением сказать, что способность Шашковой принимать в себя чужое горе во всей его трагической полноте сократила годы жизни поэта. До того времени, когда народ был «реабилитирован» и крымские татары начали возвращаться на родину, она не дожила, – не хватило ей нескольких лет.

Вере Трамбицкой посвящен большой лирический цикл «писем» Шашковой, многие из которых разными путями достигали ГУЛАГа. Уникальный цикл с удивительной судьбой – ей нет аналогов в истории русской потаённой поэзии минувшего века. Поразительны пророчества Шашковой, в том числе в одном из «писем» 1953 года: «на Спасской башне стрелка часовая» указывает на новую звезду, надо верить в неё, «ещё надежды голос не умолк»; не всем суждено выжить, но всё-таки «грянет день – освобожденным словом / из праха встанут наши имена...». Будущее словно озарено этой пушкинской реминисценцией.

С представителями официальной, разрешенной властями литературы у Ирины Шашковой контактов почти не было. Нам известно только о непродолжительной переписке с Ильей Эренбургом – в 1952 – 1960 гг. Они никогда не встречались. Это был один из любимейших её писателей-современников, адресат многих шашковских стихотворений – тех, которые имеют посвящение «P. J.» (т. е. Полю Жослену, это – «известинский» псевдоним И. Г. Эренбурга, которым он подписывал свои корреспонденции из Франции в 1938 – 1939 гг.). Некоторые из своих стихов она однажды решилась послать своему любимцу – советскому мэтру и сталинскому лауреату – вместе с письмом. Эренбург ответил 10 июля 1952 года: «Многое в Ваших стихах мне очень близко и дорого». Они друг друга поняли. Конечно, Шашкова знала, что её

адресат – друг детства и юности Н. И. Бухарина, но, скорее всего, в подборке стихов, посланных Ириной Васильевной Эренбургу, текстов с посвящениями «N. B.» не было.

Несмотря на то, что Шашкова называла свои стихи «только отзвуком» поэзии Эренбурга, вряд ли есть основания говорить о подавляющем и вообще о сильном его влиянии на харьковского поэта. Отчасти влияние это проявилось, может быть, в склонности Шашковой к большим лирическим формам – монологам, в урбанистической образности, разговорных речевых оборотах, лексике. Эренбург был прототипом образа идеального старшего «друга-стихотворца» многих её поэтических посланий. Однажды он возникает в её стихах и под своим именем – в «Письме» (1953), адресованном «В. Т.» – Вере Трамбицкой:

Он знает судьбы темные Европы,
парижских улиц голос молодой,
он исходил земные наши тропы
то мятежом, то болью, то войной.
Он нашего искусства свет и совесть,
он не боится ни угроз, ни бурь,
двадцатый век – его большая повесть,
ты спросишь имя, – это Эренбург.

Что же касается «P. J.», то чаще всего это – смелый, мыслящий свободно духовный «двойник» лирической героини. (Другим наиболее часто приходящим к ней «двойником» был поэт из далекой эпохи – Франсуа Вийон, которого И. Г. Эренбург также очень любил и чьи стихи переводил.) Как казалось иногда Ирине Шашковой, «P. J.» – её «беспричинный адресат», она даже призналась однажды: «...выдумка моя» («Письма», I, 1952). Образ с годами претерпевал изменения, заметно сближаясь с отнюдь не идеальным прототипом, но в искренности Эренбурга как художника она не сомневалась: «...мы всё так же спорим, / Париж, Москва и родина... Не верю, / что это всё без горечи писалось, / что Вы искали только славу здесь» («Они в пыли – разбросанные письма...», 1951). Писатель «много пережил и выжил», это был путь «падений и исканий», – справедливо замечает И. Шашкова («Я не виню, так быть должно…», 1952).

Догадывалась она и о том, что «искусство выживания», которым Эренбург владел в совершенстве (мы использовали слова его английского биографа А. Гольдберга), с годами приучило его к несвободе, приручило его некогда вольный «вийоновский» дух. В сравнении с большинством советских литераторов Эренбург мог показаться свободным человеком, и закономерно, что именно он стал провозвестником и одним из неофициальных литературных идеологов «оттепели»

(как известно, получившей своё название благодаря появлению в 1954 году одноименной повести И. Г. Эренбурга). Но в отличие от Ирины Шашковой этот вроде бы свободно мыслящий европеец, по собственному его признанию, хотя и не «любил Сталина, но долго верил в него....». Верил и... «его боялся»*. Эта дьявольская смесь веры и страха в душах миллионов людей, по убеждению Шашковой, и создала Сталина-тирана, овладевшего 1/6 земной суши.

Эренбург также верил или заставил себя поверить в то, что советский режим – это подступы к лучшему будущему всего человечества, что он гуманен и миролюбив по отношению ко всем «отстающим» странам и народам. Шашкова не разделяла и этих взглядов писателя, постепенно разочаровываясь в своем кумире. Горькой иронией и одновременно – совершенно искренним, отчасти щадящим лично «P. J.» сожалением проникнуто уже нами упоминавшееся стихотворение «Венгрия», которое посвящено венгерскому Народному восстанию 1956 года против коммунистического режима, подавленному при помощи советских войск. Илья Эренбург поставил свою подпись под письмом протеста советских писателей против «кровавого разгула контрреволюции в Венгрии» (Лит. газ. – 1956. – 22 и 24 нояб.). Эта подпись стала личной трагедией Шашковой.

...эта подпись не только твоя –
расписался за душу мою,
расписался, – и падаю я.

Я трусливо сжимаюсь в комок:
пусть задушена будет она
(вам, безумцам, хороший урок), –
эта в ранах разбитых дорог
вся расстрелянная страна.

Что и говорить – сильнейшая отповедь коллективной трусости, страху и ложной вере, отповедь, которой нет равных в истории русской поэзии того времени. Эти стихи она Эренбургу, наверное, не посылала, но в самой известной его книге – «Люди, годы, жизнь» – находим, наряду с явно неудачной попыткой самооправдания, и слова искреннего раскаяния: «По газетам трудно было понять, что там происходит. <...> пришлось платить по счетам сталинской эпохи. <...> Скажу о себе:

---

* Цит. по: Рубашкин А. И. Эренбург Илья Григорьевич // Рус. писатели 20 века: Биогр. словарь. – М.: Науч. изд-во «Больш. рос. энциклопедия»; Изд-во «РАНДЕВУ-АМ», 2000. – С. 796.

ноябрь 1956 года был, кажется, самым трудным месяцем в моей жизни: чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи»[1].

О своей подписи под писательским протестом Эренбург в этой последней части своего литературного завещания ничего не говорит: ему больно и стыдно. Оба они, конечно, слушали западные «голоса», но если многоопытный писатель и журналист-международник не сразу во всем разобрался (увы, в это верится с трудом), то Шашкова всё поняла сразу, как только узнала, что советские солдаты стреляют в восставших рабочих.

...Не хотелось бы очень, чтобы у читателя сложилось впечатление об Ирине Шашковой как о художнике, не знавшем иных красок, кроме черной и белой, и отдававшем предпочтение черной. Она назвала однажды свои стихи «ночными жалобами», но всё-таки не соглашалась с тем, что это – «только свет, бегущий огоньками по болоту» (из послания к «P. J.», 1953). Поэт трагический в ней сосуществовал с поэтом радости – чувственной и духовной, с поэтом-оптимистом, чьей верой была неутраченная ею – несмотря ни на что – вера в светлые стороны человека, в его способность противостоять злу и хаосу, возникающим вне его и в нём самом. Вот характерный фрагмент из воспоминаний И. Шашковой: «Доброта всегда окружала меня, и даже в 37-м, когда многие от меня отшатнулись (так был велик страх), много было и таких, которые не дали упасть духом и старались, как могли, помочь».

Небольшая поэма Шашковой «Человек» (1953), гетеанская по стилю и духу, отличающаяся редкой для неё четкостью образов и стройностью композиции, восходит к ренессансному образу человека и в то же время является его художественным переосмыслением – вослед автору «Фауста», на основе опыта всех последующих столетий, опыта и радующего, и ужасающего. Но, кажется, именно вера в человека гармонизировала поэтическую форму, помогла стихам вырваться из плена черновиков.

Будут ещё разочарования, приступы неуверенности в себе, опасения, что стих не сможет «дожить до утра, / и жить ему в сущности нечем» («Молчи, не молчи – всё равно не сбежать... », 1953), состояния души, когда «никто не надобен: / ни Бог, ни человек» («Звезда моя вечерняя...», 1972). Будут ещё у поэта и приступы социального пессимизма, неверия ни в человека, ни в человечество, которое «над каждым встающим веком / воздвигает барак чумной». Но главные слова уже были ею сказаны – в этой маленькой поэме:

1 Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: Воспоминания. - М.: Сов. писатель, 1990. – Т. 3. – С. 308 – 309.

Я чувств и слов единство, я сплетенье
упругих мышц и темного горенья,
дыхание мое разносит смерть и жизнь,
..
мой путь бессмертен, век в часах недолог,
меня земля сжигает в легкий прах,
а я уже живу в других чертах...

Так говорит её герой – человек, сознающий себя творцом, способный разрушить гармонию – «покой», «задуманный» в нем самом Творцом всего сущего, – в этом её герой тоже признаётся. А для себя Шашкова сделала выбор уже в начале пути: она – на стороне жизни, Света. Она подчинила свою жизнь высшему нравственному закону, с которым люди нередко связывают свои представления о Боге.

Этот путь Шашкова прошла, приближаясь, но не сливаясь с христианским мировосприятием. Среди зачеркнутых, отвергнутых ею стихов есть строки о «безликой доброте, / той, что Христос на землю к нам низвёл» («Любовь моя и лучше, и сильней...», 1953). Неверие лирической героини – особенное, на рубежах веры – христианской, иудейской: «Субботние свечи зажгу я в тревоге, / не верю, но всё же зажгу их под вечер...» («Субботние свечи», 1959). Чаще молится она «не Господу» – «весенней опади, всем ливням и дождям», «веткам на ветру» («Звезда моя вечерняя...», 1972). Смерти ждет «как чуда из чудес», но и как ухода «в беспамятство, в бесстрастье».

Не в Дантов ад. Он был здесь на земле.
В небытие, где ни теней, ни звуков,
где ветер пишет имя на золе,
ровняя всё – печаль и зло, и скуку.

(Из стихов 1976 г.)

Но присматриваясь и прислушиваясь к жизни, поэт обретает на земле, в своей душе гармонию – истинную, божественную гармонию и чистоту. Прислушиваясь к «чистому звону весенней воды», Шашкова обращается к этой чудесной живой воде как к Богородице: «Помоги мне, Милая и Пречистая, помоги!». И первый снег у неё – «лепестки молитвы снежной» на пожухлой траве (обе цитаты – из стихов 1978 г.).

В том же 1978-м появилось четверостишие, которое могло бы звучать как «Верую!», как символ веры, если бы не «может быть» в последней строке.

Всё по кругу шла и к порогу
подошла: не сошлись ли реки?
Только в миг постиженья Бога,
может быть, поймешь человека.

Богоматерь в её стихах спрашивает: «Где мой Сын?» («Ропот Богоматери», 1981). Шашкова тоже искала, ждала Его – как высшего воздаяния за трудную, мучительную земную жизнь. Она готовится к уходу, но этот мир всё ещё дорог ей: здесь был «Дантов ад» и можно было увидеть «пляску дьяволят», но и услышать, как «ангелы поют» (из черновиков 1979 г.). Здесь были настоящие, преданные друзья, здесь приходила к ней любовь. Замечателен ее лирический цикл 1970-х гг., посвященный другу юности Юрию Суетину. В последние свои годы Шашкова пишет много печальных и скорбных – прощальных стихов; среди них есть стихотворения памяти ушедших друзей – А. И. Белецкого, М. О. Габель, И. Я. Каганова, В. Г. Трамбицкой, Л. И. Цыкиной и других. Есть и стихотворение памяти Владимира Высоцкого и Олега Даля. Она тоже готова уйти – «в никуда, в ничего, в навек», всё чаще звучит в её стихах мольба о прощении и просьба к «Богу милостивому»: «Ты своим всевидящим оком / покороче отмерь мне срок» («Два голоса», 1981). Но слышна в её стихах и благодарность за нежданную «задержку». Пока жива, пока возникают стихи, она, как и её знаменитый земляк – поэт Борис Чичибабин, – «между печалью и ничем» выбирает печаль.

Четвертая сводная тетрадь Ирины Шашковой заполнена только наполовину. Продолжались некоторые лирические циклы, в том числе бесконечный, круговой цикл «времен года», во многих стихотворениях которого проявилась её поэтическая наблюдательность, способность как бы изнутри воспринимать таинственную жизнь природы: «В лепестках и пыльце начинается песенка меда...» (из стихов 1982 г.). Контакты её с окружающим миром порой ограничивались общением с любимым домашним котом Осей – другом, «человечком», «маленьким богом». А скорее, наоборот: весь мир, огромный и удивительный, красивый и таинственный, как зеленые глаза Оси, вмещался в эту трогательную дружбу. Смерть Оси потрясла её, в тетради появилось множество стихотворений-плачей.

Как и в прежние годы, Шашкова следила за событиями на русском Парнасе. Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский и Алексей Парщиков становились её «собеседниками» (не ведая о том!), адресатами её посланий и эпиграмм. Нежно любя Ахмадули-

ну-поэта, Шашкова не удержалась от совета-упрека: «воздавать» нужно не только мёртвым, но и живым русским поэтам, в том числе и поэту-изгнаннику Иосифу Бродскому: «Ему воздай – волшебник чернокнижный / в изгнании звонит в колокола...» («Всё плачешь ты о мертвых. О живых...», 1984).

В своих духовных исканиях она и в последние годы оставалась где-то посередине между «есть Бог» и «нет Бога» (мы перефразировали известное чеховское высказывание), но в любимое ею стихотворение-признание Булата Окуджавы «Мне нужно на кого-нибудь молиться...» она, как и сам автор, вкладывала земной смысл.

Мне нужен человек, а не Бог,
вернись – или не воскресай.

(«Концерт», 1984)

Характерны её поздние стихотворения о Христе. В «Пасхе» (1984) Воскресению, чей свет уходит «в небеса», Воскресению Христову противопоставлено весеннее «воскресение» земной природы. Не о небесной жизни – о земных муках Спасителя, которые разделяет душа лирической героини, – стихотворение «До сердцебиения...» (1985): «Я о Тебе, / как огонь в судьбе, – / рана Твоя и гвоздь». (Заметим, что это – авторская вариация на тему уже упоминавшегося стихотворения 1958 года «Распяли человека. Гвоздь вошел…», посвященного Пастернаку.) Но ничего она не чувствует по отношению к Господу, который «далеко», на небесах: «Ты далеко, равнодушен и глух, / непознаваемый Образ и Дух» («Вновь непроглядная ночь за окном...», 1985). К естественнонаучным представлениям о Космосе близки шашковские строки о нем: Космос – это песчинка в руке и галактика, которую мы кружим «вокруг себя» («Прощение», 1985).

Но в том же стихотворении есть строки о душе́ и о том, что человек разумный не всевластен: он ведо́м Богом и дьяволом, а его, человека, путь к истине чаще всего становится крестным путем. В «Прощении» слышны отголоски «метареалистической» поэзии Алексея Парщикова, которому посвящено это стихотворение, и библейских текстов, и оды «Бог» Державина. Одно из последних стихотворений Ирины Шашковой – 1987 года – столь же пессимистично, что и стихи, которые Державин написал перед смертью на грифельной доске.

Из плена вырвалась душа
в предвечный, опаленный ха́ос,
но там нас ждет Харона парус
и мертвый шорох камыша.

Перед смертью Шашкова хотела предать огню всё, написанное ею за пятьдесят пять лет, но, к счастью, не успела это сделать. Ни одной строки из этих тетрадей при её жизни не было напечатано.

В последние десятилетия, когда один за другим уходили из жизни её старшие друзья, у Ирины Васильевны появился ещё один круг друзей и почитателей – молодых «рыцарей» поэзии. Им она также прочитала стихи из своих потаенных тетрадей. «Стукачей» среди них не было*.

Дочь вспоминает: «...Мои сверстники – художники, математики, физики, гуманитарии – тянулись к ней, встречая любовь и понимание <...>. Её дом был для них духовной отдушиной, был *их* домом, где можно было свободно говорить о политике, литературе, искусстве. Это было время оттепели.

И они искренне любили её, называя между собой «Ириной».

Жизнь разбросала всех по свету, но я знаю, что никто из них не забыл маму, её дом, и её уход был воспринят ими как невосполнимая потеря».

Ирина Васильевна Шашкова умерла от инфаркта миокарда 10 августа 1987 года, на шестьдесят девятом году жизни.

* * *

Их очень мало было «на челне» – русских поэтов XX века, которые всё написали в своих тетрадях о деяниях новообразовавшегося Зла и уже тогда стали носителями «оценки поздней», говоря словами Анны Ахматовой. Среди них – земляк Шашковой большой русский поэт Владимир Щировский, назвавший себя «поэтом кошмарных времен», узница сталинского концлагеря Анна Баркова, Иван Елагин, ровесник Шашковой (даты жизни те же: 1918 – 1987), тоже из семьи «врага народа», тоже не отрекшийся от своего отца. При этом судьбы Елагина и Шашковой разнятся: она жила и писала на родине, а Елагин в 1943 году стал эмигрантом; главные его поэтические «свидетельства» о сталинском беспределе относятся к послевоенному времени.

Насколько нам известно, Ирина Шашкова является единственным русским поэтом XX века – автором более чем двух сотен «вольных», оппозиционных режиму стихотворений, созданных в СССР. И вот о чем подумалось: наверное, это достойная кара Лихому Времени, вер-

---

* Случайная «утечка информации» однажды все-таки произошла, и в связи с угрозой обыска Ирина Васильевна передала свои поэтические тетради на хранение ближайшей подруге – И. С. Гончаровой.

шителям и соучастникам Зла, – возникающая из потаённых тетрадей поэта Книга. Кара прижизненная – тем, кто ещё доживает свой незаслуженно долгий век, и кара посмертная. За пытки и казни, за лагеря и сломанные жизни – стихи. За ломку самого себя, за ложную и преступную веру в то, что бывший «никем» имеет право и может стать «всем», за жестокость и лицемерие семидесяти четырех советских лет – стихи. Как знать, может быть, и спасение душ человеческих, спасение нас с вами – вот в таких, возникавших часто без профессиональной оглядки на «форму», исповедальных «белых черновиках». Как знать...

Во тьме, «во мраке ада» ей удалось сохранить и редкие, драгоценные мгновенья своего земного счастья – в стихах, озаренных непостижимым небесным Светом. Она была мужественным человеком, готовым ко всему, несущим этот Свет в своей душе: «Я расплачу́сь за счастье до конца, / не попрошу пощады – счастье было...» (из стихов 1960 г.).

И идем мы по пояс в травах,
в заливных, цветущих лугах,
то ли перепел крикнул справа,
то ли ветер запел в кустах.

Ни Москвы, ни разлук, ни боли –
ничего, что сечет и бьет.
Перед нами, волнуясь, поле
забегает лет на́ сто вперёд.

(«Письма», 4, 1957)

Оставим Ирину Шашкову на этом рубеже вечности, под светом любви, которым пронизан мир Божий.

Игорь Лосиевский

Содержание

Издательство и составитель благодарят
за помощь в подготовке этой книги

Татьяну Всеволодовну Знаменскую,

Светлану Александровну Зубкову,

Татьяну Мефодиевну и Георгия Ивановича Габов,

Ромуальда Юрьевича Волковыского,

Леонида Генриховича Фризмана,

а также Харьковский художественный музей
за предоставленную возможность использования
при оформлении обложки настоящей книги
репродукции акварели «Дерево»
(оригинал: бумага, 40 х 14 см, инв. № 5953 г-ру)
работы Сергея Ивановича Щербакова (1894 – 1967) –
представителя русского художественного зарубежья,
родственника И. Шашковой по отцовской линии.
Выпускник Харьковского художественного училища
и Московского училища живописи, ваяния и зодчества,
С. Щербаков с 1918 г. жил в эмиграции (Харбин, Токио,
Сан-Франциско); произведения художника хранятся
в музейных собраниях Украины, России и США.